

# Лев Николаевич Толстой

## Севастопольские рассказы

### СЕВАСТОПОЛЬ В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ

Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; темно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет – все черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет восьмая склянка.

На Северной денная деятельность понемногу начинает заменять спокойствие ночи: где прошла смена часовых, побрякивая ружьями; где доктор уже спешит к госпиталю; где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится Богу; где высокая тяжелая *маджара* на верблюдах со скрипом протащила на кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена... Вы подходите к пристани – особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас; тысячи разнородных предметов – дрова, мясо, туры, мука, железо и т. п. – кучей лежат около пристани; солдаты разных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста; вольные ялики, наполненные всякого рода народом – солдатами, моряками, купцами, женщинами, – причаливают и отчаливают от пристани.

– На Графскую, ваше благородие? Пожалуйте, – предлагают вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов.

Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через полусгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море, впереди – старый матрос в верблюжьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно работают веслами. Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и далеко рассыпанных по бухте, и на черные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию бона[3] и затопленных кораблей, от которых кой-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырьки, поднимаемые веслами; вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки голосов, по воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе.

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...

– Ваше благородие! прямо под Кистентина держите, – скажет вам старик матрос, оборотясь назад, чтобы поверить направление, которое вы даете лодке, – вправо руля.

– А на нем пушки-то еще все, – заметит беловолосый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его.

– А то как же: он новый, на нем Корнилов жил, – заметит старик, тоже взглядывая на корабль.

– Вишь ты, где разорвало! – скажет мальчик после долгого молчания, взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко над Южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомбы.

– Это он с новой батареи нынче палит, – прибавит старик, равнодушно поплеывая на руку. – Ну, навались, Мишка, баркас перегоним. – И ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыби бухты, действительно перегоняет тяжелый баркас, на котором навалены какие-то кули и неровно гребут неловкие солдаты, и пристаёт между множеством причаленных всякого рода лодок к Графской пристани.

На набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат *сбитень горячий*, и тут же на первых ступенях валяются заржавевшие ядра, бомбы, картечи и чугунные пушки разных калибров. Немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты; стоят лошади, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные козлы; двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы; ездят телеги с сеном, с кулями и с бочками; кой-где проедут казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки, и около них сидит матрос, покуривая трубочку. Налево красивый дом с римскими цифрами на фронте, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки, – везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но взгляните ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фурашского солдатика, который ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни было – поить лошадей или таскать орудия, – так же спокойно, и самоуверенно, и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который в безукоризненно белых перчатках проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат, с носилками ожидающих на крыльце бывшего Собрании, и в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает через улицу.

Да! вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости, – ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и вида и звуков с Северной стороны. Но прежде чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты или, лучше, зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде Севастопольским собранием и на крыльце которого стоят солдаты с носилками, – вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища.

Вы входите в большую залу Собрании. Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжело раненных больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы, – это дурное чувство, – идите вперед, не стыдитесь того, что вы как будто пришли смотреть на страдальцев, не стыдитесь подойти и поговорить с ними: несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия. Вы проходите посредине постелей и ищете лицо менее строгое и страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать.

– Ты куда ранен? – спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю: "робко спрашиваете", потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто

перенесет их.

– В ногу, – отвечает солдат; но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена. – Слава Богу теперь, – прибавляет он, – на выписку хочу.

– А давно ты уже ранен?

– Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие!

– Что же, болит у тебя теперь?

– Нет, теперь не болит, ничего; только как будто в икре ноет, когда непогода, а то ничего.

– Как же ты это был ранен?

– На пятом баксионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навел пушку, стал отходить, этаким манером, к другой амбразуре, как он ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет.

– Неужели больно не было в эту первую минуту?

– Ничего; только как горячим чем меня пхнули в ногу.

– Ну, а потом?

– И потом ничего; только как кожу натягивать стали, так саднило как будто. Оно первое дело, ваше благородие, не думать много: как не думаешь, оно тебе и ничего. Все больше оттого, что думает человек.

В это время к вам подходит женщина в сереньком полосатом платье и повязанная черным платком; она вмешивается в ваш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про отчаянное положение, в котором он был четыре недели, про то, как, бывши ранен, остановил носилки, с тем чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как великие князья говорили с ним и пожаловали ему двадцать пять рублей, и как он сказал им, что он опять хочет на бастион, с тем чтобы учить молодых, ежели уже сам работать не может. Говоря все это одним духом, женщина эта смотрит то на вас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию, и глаза ее блестят каким-то особенным восторгом.

– Это хозяйка моя, ваше благородие! – замечает вам матрос с таким выражением, как будто говорит: "Уж вы ее извините. Известно, бабье дело – глупые слова говорит".

Вы начинаете понимать защитников Севастополя; вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление; но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову, – и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством.

– Ну, дай Бог тебе поскорее поправиться, – говорите вы ему и останавливаетесь перед другим больным, который лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти.

Это белокурый, с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку, в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание; голубые оловянные глаза закачены кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обвернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и вас.

– Что, он без памяти? – спрашиваете вы у женщины, которая идет за вами и ласково, как на родного, смотрит на нас.

– Нет, еще слышит, да уж очень плох, – прибавляет она шепотом. – Я его нынче чаем поила – что ж, хоть и чужой, все надо жалость иметь, – так уж не пил почти.

– Как ты себя чувствуешь? – спрашиваете вы его. Раненый поворачивает зрачки на ваш голос, но не видит и не понимает вас.

– У сердце гхорить.

Немного далее вы видите старого солдата, который переменяет белье. Лицо и тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Руки у него совсем нет: она вылушена в плече. Он сидит бодро, он поправился; но по мертвому, тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни.

С другой стороны вы увидите на койке страдальческое, бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щеку горячий румянец.

– Это нашу матроску пятого числа в ногу задело бомбой, – скажет вам ваша путеводительница, – она мужу на бастион обедать носила.

– Что ж, отрезали?

– Выше колена отрезали.

Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, – увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти...

Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство, полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости пойдете на бастионы...

"Что значат смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и столькими страданиями?" Но вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим.

Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведет вас на прежние мысли; похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки – весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте.

Пройдя церковь и баррикаду, вы войдете в самую оживленную внутреннюю жизнь часть города. С обеих сторон вывески лавок, трактиров. Купцы, женщины в шляпках и платочках, щеголеватые офицеры – все говорит вам о твердости духа, самоуверенности, безопасности жителей.

Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите послушать толки моряков и офицеров: там уж, верно, идут рассказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про дело двадцать четвертого, про то, как дорого и нехорошо подают котлетки, и про то, как убит тот-то и тот-то товарищ.

– Черт возьми, как нынче у нас плохо! – говорит басом белобрысенький безусый морской офицерик в зеленом вязаном шарфе.

– Где у нас? – спрашивает его другой.

– На четвертом бастионе, – отвечает молоденький офицер, и вы непременно с большим

вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах: "на четвертом бастионе". Его слишком большая развязность, размахивание руками, громкий смех и голос, казавшиеся вам нахальством, покажутся вам тем особенным бретерским настроением духа, которое приобретают иные очень молодые люди после опасности; но все-таки вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо на четвертом бастионе от бомб и пуль: ничуть не бывало! плохо оттого, что грязно. "Пройти на батарею нельзя", – скажет он, показывая на сапоги, выше икор покрытые грязью. "А у меня нынче лучшего комендора убили, прямо в лоб влепило", – скажет другой. "Кого это? Митюхина?" – "Нет... Да что, дадут ли мне телятины? Вот каналы! – прибавит он к трактирному слуге. – Не Митюхина, а Абросимова. Молодец такой – в шести вылазках был".

На другом углу стола, за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого "бордо", сидят два пехотных офицера: один, молодой, с красным воротником и с двумя звездочками на шинели, рассказывает другому, старому, с черным воротником и без звездочек, про альминское дело. Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и слишком все страшно, заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех углах России: вы хотите скорее идти на бастионы, именно на четвертый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на четвертом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда кто говорит: "Я иду на четвертый бастион", – непременно заметны в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят: "Тебя бы поставить на четвертый бастион"; когда встречают носилки и спрашивают: "Откуда?" – большей частью отвечают: "С четвертого бастиона". Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нем не были и которые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвертый бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и т. д.

В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться: туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце; какая-то печальная изморось сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели...

Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол стоны, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытанными всякое горе и нужду ветеранами и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров; изредка встречаются женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и опустясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин-камней, досок, глины, бревен; впереди себя на крутой горе видите какое-то черное, грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть четвертый бастион... Здесь народу встречается еще меньше, женщин совсем не видно, солдаты идут скоро, по дороге попадают капли крови, и непременно встретите тут четырех солдат с носилками и на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите: "Куда ранен?" – носильщики сердито, не поворачиваясь к вам, скажут: в ногу или в руку, ежели он ранен легко; или сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы и он уже умер или тяжело ранен.

Недалекий свист ядра или бомбы, в то самое время как вы станете подниматься на гору, неприятно поразит вас. Вы вдруг поймете, и совсем иначе, чем понимали прежде, значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. Какое-нибудь тихо-отрадное

воспоминание вдруг блеснет в вашем воображении; собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдения; у вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подленький голос при виде опасности, вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору, по жидкой грязи, рысью, со смехом бежит мимо вас, – вы заставляете молчать этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору. Только что вы немного взобрались в гору, справа и слева вас начинают жужжать шуцерные пули, и вы, может быть, призадумаетесь, не идти ли вам по траншее, которая ведет параллельно с дорогой; но траншея эта наполнена такой жидкой, желтой, вонючей грязью выше колена, что вы непременно выберете дорогу по горе, тем более, что вы видите, *все идут по дороге*. Пройдя шагов двести, вы входите в изрытое грязное пространство, окруженное со всех сторон турами, насыпями, погребями, платформами, землянками, на которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра. Все это кажется вам нагроможденным без всякой цели, связи и порядка. Где на батарее сидит кучка матросов, где посередине площадки, до половины потонув в грязи, лежит разбитая пушка, где пехотный солдатик, с ружьем переходящий через батареи и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи. Но везде, со всех сторон и во всех местах, видите черепки, неразорванные бомбы, ядра, следы лагеря, и все это затопленное в жидкой, вязкой грязи. Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль – жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна, – слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех нас, и который вам кажется чем-то ужасно страшным.

"Так вот он, четвертый бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!" – думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь: это еще не четвертый бастион. Это Язоновский редут – место сравнительно очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на четвертый бастион, возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезать только два человека и там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут, и увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугун во всевозможных видах. Пройдя еще шагов триста, вы снова выходите на батарею – на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпанными землей, орудиями на платформах и земляными валами. Здесь увидите вы, может быть, человек пять матросов, играющих в карты под бруствером, и морского офицера, который, заметив в вас Нового человека, любопытного, с удовольствием покажет вам свое хозяйство и все, что для вас может быть интересного. Офицер этот так спокойно свертывает папиросу из желтой бумаги, сидя на орудии, так спокойно прохаживается от одной амбразуры к другой, так спокойно, без малейшей аффектации говорит с вами, что, несмотря на пули, которые чаще, чем прежде, жужжат над вами, вы сами становитесь хладнокровны и внимательно расспрашиваете и слушаете рассказы офицера. Офицер этот расскажет вам, – но только, ежели вы его расспросите, – про бомбардированье пятого числа, расскажет, как на его батарее только одно орудие могло действовать, и из всей прислуги осталось восемь человек, и как все-таки на другое утро, шестого, он *палил* из всех орудий; расскажет вам, как пятого попала бомба в матросскую землянку и положила одиннадцать человек; покажет вам из амбразур батареи и траншей неприятельские, которые не дальше здесь как в тридцати – сорока саженях. Одного я боюсь, что под влиянием жужжания пуль, высываясь из амбразур, чтобы посмотреть неприятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этот белый каменистый вал, который так близко от вас и на котором вспыхивают белые дымки, этот-то белый вал и сеть неприятель – он, как говорят солдаты и матросы.

Даже очень может быть, что морской офицер, из тщеславия или просто так, чтобы доставить себе удовольствие, захочет при вас пострелять немного. "Послать комендора и прислугу к пушке", – и человек четырнадцать матросов живо, весело, кто засовывая в карман трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, подойдут к пушке и зарядят ее. Вглядитесь в лица, в осанки и в движения этих людей: в каждой морщине этого загорелого скуластого лица, в каждой мышце, в ширине этих плеч, в толщине этих ног, обутых в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу русского, – простоты и упрямства; но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства.

Вдруг ужаснейший, потрясающий не одни ушные органы, но все существо ваше, гул поражает вас так, что вы вздрагиваете всем телом. Вслед за тем вы слышите удаляющийся свист снаряда, и густой пороховой дым застилает вас, платформу и черные фигуры движущихся по ней матросов. По случаю этого нашего выстрела вы услышите различные толки матросов и увидите их одушевление и проявление чувства, которого вы не ожидали видеть, может быть, – это чувство злобы, мщения врагу, которое таится в душе каждого. "В самую абрауру попало; кажись, убило двух... вон понесли", – услышите вы радостные восклицания. "А вот он рассерчает: сейчас пустит сюда", – скажет кто-нибудь; и действительно, скоро вслед за этим вы увидите впереди себя молнию, дым; часовой, стоящий на бруствере, крикнет: "Пу-у-шка!" И вслед за этим мимо вас взвизгнет ядро, шлепнется в землю и воронкой взбросит вокруг себя брызги грязи и камни. Батарейный командир рассердится за это ядро, прикажет зарядить другое и третье орудия, неприятель тоже станет отвечать нам, и вы испытаете интересные чувства, услышите и увидите интересные вещи. Часовой опять закричит: "Пушка!" – и вы услышите тот же звук и удар, те же брызги, или закричит: "Маркела!" – и вы услышите равномерное, довольно приятное и такое, с которым с трудом соединяется мысль об ужасном, посвистывание бомбы, услышите приближающееся к вам и ускоряющееся это посвистывание, потом увидите черный шар, удар о землю, осязательный, звенящий разрыв бомбы. Со свистом и визгом разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни, и забрызгает вас грязью. При этих звуках вы испытаете странное чувство наслаждения и вместе страха. В ту минуту, как снаряд, вы знаете, летит на вас, вам непременно придет в голову, что снаряд этот убьет вас; но чувство самолюбия поддерживает вас, и никто не замечает ножа, который режет вам сердце. Но зато, когда снаряд пролетел, не задев вас, вы оживаете, и какое-то отрадное, невыразимо приятное чувство, но только на мгновение, овладевает вами, так что вы находите какую-то особенную прелесть в опасности, в этой игре жизнью и смертью; вам хочется, чтобы еще и еще поближе упали около вас ядро или бомба. Но вот еще часовой прокричал своим громким, густым голосом: «маркела!», еще посвистыванье, удар и разрыв бомбы; но вместе с этим звуком вас поражает стон человека. Вы подходите к раненому, который, в крови и грязи, имеет какой-то странный нечеловеческий вид, в одно время с носилками. У матроса вырвана часть груди. В первые минуты на набрызганном грязью лице его видны один испуг и какое-то притворное преждевременное выражение страдания, свойственное человеку в таком положении; но в то время как ему приносят носилки и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой, невысказанной мысли: глаза горят ярче, зубы сжимаются, голова с усилием поднимается выше; и в то время как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим голосом говорит товарищам: «Простите, братцы!» – еще хочет сказать что-то, и видно, что хочет сказать что-то трогательное, но повторяет только еще раз: «Простите, братцы!» В это время товарищ-матрос подходит к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, и спокойно, равнодушно, размахивая руками, возвращается к своему орудию. «Это вот каждый день этак человек семь или восемь», – говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и свертывая папиросу из желтой бумаги...

\*\*\*

Итак, вы видели защитников Севастополя на самом месте защиты и идете назад, почему-то не обращая никакого внимания на ядра и пули, продолжающие свистать по всей дороге до разрушенного театра, – идете с спокойным, возвысившимся духом. Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли, – это убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа, – и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитросплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так малонапряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше... они все могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди непрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, – любовь к родине. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю, – о временах, когда этот герой, достойный древней Греции, – Корнилов, объезжая войска, говорил: «Умрем, ребята, а не отдадим Севастополя», – и наши русские, неспособные к фразерству, отвечали: «Умрем! ура!» – только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...

Уже вечерет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им.

*Севастополь. 1855 года, 25 апреля.*

## СЕВАСТОПОЛЬ В МАЕ

### 1

Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех пор тысячи бомб, ядер и пуль не переставали летать с бастионов, в траншеи и с траншей на бастионы и ангел смерти не переставал парить над ними.

Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи – успокоиться в объятиях смерти. Сколько звездочек надето, сколько снято, сколько Анн, Владимиров, сколько розовых гробов и полотняных покровов! А все те же



звуки раздаются с бастионов, все так же – с невольным трепетом и суеверным страхом – смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на желтоватую изрытую землю бастионов Севастополя, на черные движущиеся по ним фигуры наших матросов и считают амбразуры, из которых сердито торчат чугунные пушки; все так же в трубу рассматривает с вышки телеграфа штурманский унтер-офицер пестрые фигуры французов, их батареи, палатки, колонны, движущиеся по Зеленой горе, и дымки, вспыхивающие в траншеях, и все с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей, с еще более разнородными желаниями, к этому роковому месту.

А вопрос, не решенный дипломатами, еще меньше решается порохом и кровью.

Мне часто приходила странная мысль: что, ежели бы одна воюющая сторона предложила другой – выслать из каждой армии по одному солдату? Желание могло бы показаться странным, но отчего не исполнить его? Потом выслать другого, с каждой стороны, потом 3-го, 4-го и т. д., до тех пор, пока осталось бы по одному солдату в каждой армии (предполагая, что армии равносильны и что количество было бы заменяемо качеством). И тогда, ежели уже действительно сложные политические вопросы между разумными представителями разумных созданий должны решаться дракой, пускай бы подрались эти два солдата – один бы осаждал город, другой бы защищал его.

Это рассуждение кажется только парадоксом, но оно верно. Действительно, какая бы была разница между одним русским, воюющим против одного представителя союзников, и между 80 тысячами воюющих против 80 тысяч? Отчего не 135 тысяч против 135 тысяч? Отчего не 20 тысяч против 20 тысяч? Отчего не 20 против 20-ти? Отчего не один против одного? Никак одно не логичнее другого. Последнее, напротив, гораздо логичнее, потому что человечнее. Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать.

## 2

В осажденном городе Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам. Светлое весеннее солнце взошло с утра над английскими работами, перешло на бастионы, потом на город – на Николаевскую казарму и, одинаково радостно светя для них, теперь спускалось к далекому синему морю, которое, мерно колыхаясь, светилось серебряным блеском.

Высокий, немного сутуловатый пехотный офицер, натягивая на руку не совсем белую, но опрятную перчатку, вышел из калитки одного из маленьких матросских домиков, настроенных на левой стороне Морской улицы, и, задумчиво глядя себе под ноги, направился в гору к бульвару. Выражение некрасивого с низким лбом лица этого офицера изобличало тупость умственных способностей, но притом рассудительность, честность и склонность к порядочности. Он был дурно сложен – длинноног, неловок и как будто стыдлив в движениях. На нем была незатасканная фуражка, тонкая, немного странного лилового цвета шинель, из-под борта которой виднелась золотая цепочка часов; панталоны со штрипками и чистые, блестящие, хотя и с немного стоптанными в разные стороны каблуками, опойковые сапоги, – но не столько по этим вещам, которые не встречаются обыкновенно у пехотного офицера, сколько по общему выражению его персоны, опытный военный глаз сразу отличал в нем не совсем обыкновенного пехотного офицера, а немного повыше. Он должен был быть или немец, ежели бы не изобличали черты лица его чисто русское происхождение, или адъютант, или квартирмейстер полковой (но тогда бы у него были шпоры), или офицер, на время кампании перешедший из кавалерии, а может, и из гвардии. Он действительно был перешедший из кавалерии и в настоящую минуту, поднимаясь к бульвару, думал о письме, которое сейчас получил от бывшего товарища, теперь отставного, помещика Т. губернии, и жены его, бледной голубоглазой Наташи, своей большой приятельницы. Он вспомнил одно место письма, в котором товарищ пишет:

"Когда приносят нам "Инвалид", то Пупка (так отставной улан называл жену свою) бросается опростелью в переднюю, хватает газеты и бежит с ними на эс в беседку, в гостиную (в которой, помнишь, как славно мы проводили с тобой зимние вечера, когда полк стоял у нас в городе), и с таким жаром читает *ваши* геройские подвиги, что ты себе представить не можешь. Она часто про тебя говорит: "Вот Михайлов, – говорит она, – так это *душка человек*, я готова расцеловать его, когда увижу, – он *сражается на бастионах* и непременно получит Георгиевский крест, и про него в газетах напишут", и т. д., и т. д., так что я решительно начинаю ревновать к тебе". В другом месте он пишет: "До нас газеты доходят ужасно поздно, а хотя изустных новостей и много, не всем можно верить. Например, знакомые тебе *барышни с музыкой* рассказывали вчера, что уж будто Наполеон пойман нашими казаками и отослан в Петербург, но ты понимаешь, как много я этому верю. Рассказывал же нам один приезжий из Петербурга (он у министра, по особым порученьям, премилый человек, и теперь, как в городе никого нет, такая для нас *рисурс*, что ты себе представить не можешь) – так он говорит наверно, что наши заняли Евпаторию, *так что французам нет уж сообщения с Балаклавой*, и что у нас при этом убито двести человек, а у французов до пятнадцати тысяч. Жена была в таком восторге по этому случаю, что *кутила* целую ночь, и говорит, что ты, наверное, по ее предчувствию, был в этом деле и отличился..."

Несмотря на те слова и выражения, которые я нарочно отметил курсивом, и на весь тон письма, по которым высокомерный читатель, верно, составил себе истинное и невыгодное понятие в отношении порядочности о самом штабс-капитане Михайлове, на стоптанных сапогах, о товарище его, который пишет *рисурс* и имеет такие странные понятия о географии, о бледном друге на эсе (может быть, даже и не без основания вообразив себе эту Наташу с грязными ногтями), и вообще о всем этом праздном грязненьком провинциальном презренном для него круге, штабс-капитан Михайлов с невыразимо грустным наслаждением вспомнил о своем губернском бледном друге и как он сживал, бывало, с ним по вечерам в беседке и говорил о *чувстве*, вспомнил о добром товарище-улане, как он сердился и ремизился, когда они, бывало, в кабинете составляли пульку по копейке, как жена смеялась над ним, – вспомнил о дружбе к себе этих людей (может быть, ему казалось, что было что-то больше со стороны бледного друга): все эти лица с своей обстановкой мелькнули в его воображении в удивительно-сладком, отрадно-розовом цвете, и он, улыбаясь своим воспоминаниям, дотронулся рукою до кармана, в котором лежало это *милое* для него письмо. Эти воспоминания имели тем большую прелесть для штабс-капитана Михайлова, что тот круг, в котором ему теперь привелось жить в пехотном полку, был гораздо ниже того, в котором он вращался прежде, как кавалерист и дамский кавалер, везде хорошо принятый в городе Т.

Его прежний круг был до такой степени выше теперешнего, что когда в минуты откровенности ему случалось рассказывать пехотным товарищам, как у него были свои дрожки, как он танцевал на балах у губернатора и играл в карты с штатским генералом, его слушали равнодушно-недоверчиво, как будто не желая только противоречить и доказывать противное – "пускай говорит", мол, и что ежели он не выказывал явного презрения к кутежу товарищей – водкой, к игре по четверти копейки на старые карты, и вообще к грубости их отношений, то это надо отнести к особенной кротости, уживчивости и рассудительности его характера.

От воспоминаний штабс-капитан Михайлов невольно перешел к мечтам и надеждам. "Каково будет удивление и радость Наташи, – думал он, шагая на своих стоптанных сапогах по узенькому переулочку, – когда она вдруг прочтет в «Инвалиде» описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия. Капитана же я должен получить по старому представлению. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много перебито, да и еще, верно, много перебьют нашего брата в эту кампанию. А потом опять будет дело, и мне, как известному человеку, поручат полк... подполковник... Анну на шею... полковник..." – и он был уже генералом, достаивающим посещения Наташу, вдову

товарища, который, по его мечтам, умрет к этому времени, когда звуки бульварной музыки ясное долетели до его слуха, толпы народа кинулись ему в глаза, и он очутился на бульваре прежним пехотным штабс-капитаном, ничего не значащим, неловким и робким.

### 3

Он подошел сначала к павильону, подле которого стояли музыканты, которым вместо пюпитров другие солдаты того же полка, раскрывши, держали ноты и около которых, больше смотря, чем слушая, составили кружок писаря, юнкера, няньки с детьми и офицеры в *старых* шинелях. Кругом павильона стояли, сидели и ходили большею частью моряки, адъютанты и офицеры в белых перчатках и новых шинелях. По большой аллее бульвара ходили всяких сортов офицеры и всяких сортов женщины, изредка в шляпках, большей частью в платочках (были и без платочков и без шляпок), но ни одной не было старой, а замечательно, что все молодые. Внизу по тенистым пахучим аллеям белых акаций ходили и сидели уединенные группы.

Никто особенно рад не был, встретив на бульваре штабс-капитана Михайлова, исключая, может быть, его полка капитанов Обжогова и Сусликова, которые с горячностью пожали ему руку, но первый был в верблюжьих штанах, без перчаток, в обтрепанной шинели и с таким красным, вспотевшим лицом, а второй кричал так громко и развязно, что совестно было ходить с ними, особенно перед офицерами в белых перчатках, из которых с одним – с адъютантом – штабс-капитан Михайлов кланялся, а с другим – штаб-офицером – мог бы кланяться, потому что два раза встречал его у общего знакомого. Притом же, что веселого ему было гулять с этими господами Обжоговым и Сусликовым, когда он и без того по шести раз на день встречал их и пожимал им руки. Не для этого же он пришел *намузыку*.

Ему бы хотелось подойти к адъютанту, с которым он кланялся, и поговорить с этими господами совсем не для того, чтобы капитаны Обжогов и Сусликов, и поручик Паштецкий, и другие видели, что он говорит с ними, но просто для того, что они приятные люди, притом знают все новости – порассказали бы...

Но отчего же штабс-капитан Михайлов боится и не решается подойти к ним? "Что, ежели они вдруг мне не поклонятся, – думает он, – или поклонятся и будут продолжать говорить между собою, как будто меня нет, или вовсе уйдут от меня, и я там останусь один между *аристократами*". Слово *аристократы* (в смысле высшего отборного круга, в каком бы то ни было сословии) получило у нас в России, где бы, кажется, вовсе не должно было быть его, с некоторого времени большую популярность и проникло во все края и во все слои общества, куда проникло только тщеславие (а в какие условия времени и обстоятельств не проникает эта гнусная страстишка?), – между купцами, между чиновниками, писарями, офицерами, в Саратов, в Мамадыши, в Винницы, везде, где есть люди. А так как в осажденном городе Севастополе людей много, следовательно, и тщеславия много, то есть и *аристократы*, несмотря на то, что ежеминутно висит смерть над головой каждого *аристократа* и *неаристократа*. Для капитана Обжогова штабс-капитан Михайлов *аристократ*, потому что у него чистая шинель и перчатки, и он его за это терпеть не может, хотя уважает немного; для штабс-капитана Михайлова адъютант Калугин *аристократ*, потому что он адъютант и на «ты» с другим адъютантом, и за это он не совсем хорошо расположен к нему, хотя и боится его. Для адъютанта Калугина граф Нордов *аристократ*, и он его всегда ругает и презирает в душе за то, что он флигель-адъютант. Ужасное слово *аристократ*. Зачем подпоручик Зобов так принужденно смеется, хотя ничего нет смешного, проходя мимо своего товарища, который сидит с штаб-офицером? Чтобы доказать этим, что, хотя он и не *аристократ*, но все-таки ничуть не хуже их. Зачем штаб-офицер говорит таким слабым, лениво-грустным, не своим голосом? Чтобы доказать своему собеседнику, что он *аристократ* и очень милостив, разговаривая с подпоручиком. Зачем юнкер так размахивает руками и подмигивает, идя за барыней, которую он в первый раз видит и к которой он ни за

что не решится подойти? Чтоб показать всем офицерам, что, несмотря на то, что он им шапку снимает, он все-таки аристократ и ему очень весело. Зачем артиллерийский капитан так грубо обошелся с добродушным ординарцем? Чтобы доказать всем, что он никогда не заискивает и в *аристократах* не нуждается, и т. д., и т. д., и т. д.

Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде – даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего между прежними людьми по слышно было об этой страсти, как об оспе или холере? Отчего в наш век есть только три рода людей: одних – принимающих начало тщеславия как факт необходимо существующий, поэтому справедливый, и свободно подчиняющихся ему; других – принимающих его как несчастное, но непреодолимое условие, и третьих – бессознательно, рабски действующих под его влиянием? Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу и про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть «Снобсов» и "Тщеславия"?

Штабс-капитан Михайлов два раза в нерешительности прошел мимо кружка *своих аристократов*, в третий раз сделал усилие над собой и подошел к ним. Кружок этот составляли четыре офицера: адъютант Калугин, знакомый Михайлова, адъютант князь Гальцин, бывший даже немножко аристократом для самого Калугина, подполковник Нефердов, один из так называемых 122-х светских людей, поступивших на службу из отставки под влиянием отчасти патриотизма, отчасти честолюбия и, главное, того, что *все* это делали; старый клубный московский холостяк, здесь присоединившийся к партии недовольных, ничего не делающих, ничего не понимающих и осуждающих все распоряжения начальства, и ротмистр Праскухин, тоже один из 122-х героев. К счастью Михайлова, Калугин был в прекрасном расположении духа (генерал только что поговорил с ним весьма доверенно, и князь Гальцин, приехав из Петербурга, остановился у него), он счел не унижительным подать руку штабс-капитану Михайлову, чего не решился, однако, сделать Праскухин, весьма часто встречавшийся на бастионе с Михайловым, неоднократно пивший его вино и водку и даже должный ему по преферансу 12 руб. с полтиной. Не зная еще хорошенько князя Гальцина, ему не хотелось изоблечь перед ним свое знакомство с простым пехотным штабс-капитаном; он слегка поклонился ему.

– Что, капитан, – сказал Калугин, – когда опять на баксиончик? Помните, как мы с вами встретились на Шварцовском редуте, – жарко было? а?

– Да, жарко, – сказал Михайлов, с прискорбием вспоминая о том, какая у него была печальная фигура, когда он в ту ночь, согнувшись, пробираясь по траншее на бастион, встретил Калугина, который шел таким молодцом, бодро побрякивая саблей.

– Мне, по-настоящему, приходится завтра идти, но у нас болен, – продолжал Михайлов, – один офицер, так... – Он хотел рассказать, что черед был не его, но так как командир восьмой роты был нездоров, а в роте оставался прапорщик только, то он счел своей обязанностью предложить себя на место поручика Непшитшетского и потому шел нынче на бастион. Калугин не дослушал его.

– А я чувствую, что на днях что-нибудь будет, – сказал он князю Гальцину.

– А что, не будет ли нынче чего-нибудь? – робко спросил Михайлов, поглядывая то на Калугина, то на Гальцина. Никто не отвечал ему. Князь Гальцин только сморщился как-то, пустил глаза мимо его фуражки и, помолчав немного, сказал:

– Славная девочка эта в красном платочке. Вы ее не знаете, капитан?

– Это около моей квартиры дочь одного матроса, – отвечал штабс-капитан.

– Пойдемте посмотрим ее хорошенько.

И князь Гальцин взял под руку с одной стороны Калугина, с другой штабс-капитана, вперед уверенный, что это не может не доставить последнему большого удовольствия, что действительно было справедливо.

Штабс-капитан был суеверен и считал большим грехом перед делом заниматься женщинами, но в этом случае он притворился большим развратником, чему, видимо, не

верили князь Гальцин и Калугин и что чрезвычайно удивляло девицу в красном платочке, которая не раз замечала, как штабс-капитан краснел, проходя мимо ее окошка. Праскухин шел сзади и все толкал за руку князя Гальцина, делая разные замечания на французском языке; но, так как вчетвером нельзя было идти по дорожке, он принужден был идти один и только на втором круге взял под руку подошедшего и заговорившего с ним известно храброго морского офицера Сервягина, желавшего тоже присоединиться к кружку *аристократов*. И известный храбрец с радостью просунул свою мускулистую, честную руку за локоть, всем и самому Сервягину хорошо известному за не слишком хорошего человека, Праскухину. Но когда Праскухин, объясняя князю Гальцину свое знакомство с этим моряком, шепнул ему, что это был известный храбрец, князь Гальцин, бывший вчера на 4-м бастионе и видевший от себя в 20-ти шагах лопнувшую бомбу, считая себя не меньшим храбрецом, чем этот господин, и предполагая, что весьма много репутаций приобретается задаром, не обратил на Сервягина никакого внимания.

Штабс-капитану Михайлову так приятно было гулять в этом обществе, что он забыл про милое письмо из Т., про мрачные мысли, осаждавшие его при предстоящем отправлении на бастион, и, главное, про то, что в 7 часов ему надо было быть дома. Он пробыл с ними до тех пор, пока они не заговорили исключительно между собой, избегая его взглядов, давая тем знать, что он может идти, и, наконец, совсем ушли от него. Но штабс-капитан все-таки был доволен и, проходя мимо юнкера барона Песта, который был особенно горд и самонадеян со вчерашней ночи, которую он в первый раз провел в блиндаже пятого бастиона, и считал себя вследствие этого героем, он нисколько не огорчился подозрительно-высокомерным выражением, с которым юнкер вытянулся и снял перед ним фуражку.

#### 4

Но едва штабс-капитан перешагнул порог своей, квартиры, как совсем другие мысли пошли ему в голову. Он увидел свою маленькую комнатку с земляным неровным полом и кривыми окнами, залепленными бумагой, свою старую кровать с прибитым над ней ковром, на котором изображена была амазонка и висели два тульские пистолета, грязную, с ситцевым одеялом постель юнкера, который жил с ним; увидел своего Никиту, который с взбудораженными сальными волосами, почесываясь, встал с полу; увидел свою старую шинель, личные сапоги и узелок, из которого торчали конец мыльного сыра и горлышко портерной бутылки с водкой, приготовленные для него на бастион, и с чувством, похожим на ужас, он вдруг вспомнил, что ему нынче на целую ночь идти с ротой в ложементы.

"Наверное, мне быть убитым нынче, – думал штабс-капитан, – я чувствую. И главное, что не мне надо было идти, а я сам вызвался. И уж это всегда убьют того, кто напрашивается. И чем болен этот проклятый Непшитшетский? Очень может быть, что и вовсе не болен, а тут из-за него убьют человека, а непременно убьют. Впрочем, ежели не убьют, то, верно, представят. Я видел, как полковому командиру понравилось, когда я сказал, что позвольте мне идти, ежели поручик Непшитшетский болен. Ежели не выйдет майора, то уж Владимира наверно. Ведь я уж 13-й раз иду на бастион. Ох, 13! скверное число. Непременно убьют, чувствую, что убьют; но надо же было кому-нибудь идти, нельзя с прапорщиком роте идти, а что-нибудь бы случилось, ведь это честь полка, честь армии от этого зависит. Мой *долг* был идти... да, *долг*. А есть предчувствие". Штабс-капитан забывал, что это предчувствие, в более или менее сильной степени, приходило ему каждый раз, как нужно было идти на бастион, и не знал, что тоже, в более или менее сильной степени, предчувствие испытывает всякий, кто идет в дело. Немного успокоив себя этим понятием долга, которое у штабс-капитана, как и вообще у всех людей недалеких, было особенно развито и сильно, он сел к столу и стал писать прощальное письмо отцу, с которым последнее время был не совсем в хороших отношениях по денежным долам. Через 10 минут, написав письмо, он встал от стола с мокрыми от слез глазами и, мысленно читая все молитвы, которые знал (потому что

ему совестно было перед своим человеком громко молиться Богу), стал одеваться. Еще очень хотелось ему поцеловать образок Митрофания, благословение покойницы матушки и в который он имел особенную веру, но так как он стыдился сделать это при Никите, то выпустил образа из сюртука так, чтобы мог их достать, не расстегиваясь, на улице. Пьяный и грубый слуга лениво подал ему новый сюртук (старый, который обыкновенно надевал штабс-капитан, идя на бастион, не был починен).

– Отчего не починен сюртук? Тебе только бы все спать, этакой! – сердито сказал Михайлов.

– Чего спать? – проворчал Никита. – День-деньской бегаешь, как собака: умаешься небось, – а тут не засни еще.

– Ты опять пьян, я вижу.

– Не на ваши деньги напился, что попрекаете.

– Молчи, скотина! – крикнул штабс-капитан, готовый ударить человека, еще прежде расстроенный, а теперь окончательно выведенный из терпения и огорченный грубостью Никиты, которого он любил, баловал даже и с которым жил уже двенадцать лет.

– Скотина! скотина! – повторял слуга. – И что ругаетесь скотиной, сударь? Ведь теперь время какое? нехорошо ругать.

Михайлов вспомнил, куда он идет, и ему стыдно стало.

– Ведь ты хоть кого выведешь из терпенья, Никита, – сказал он кротким голосом. – Письмо это к батюшке, на столе оставь так и не трогай, – прибавил он, краснея.

– Слушаю-с, – сказал Никита, расчувствовавшийся под влиянием вина, которое он выпил "на свои деньги", и с видимым желанием заплакать, хлопая глазами.

Когда же на крыльце штабс-капитан сказал: "Прощай, Никита!" – то Никита вдруг разразился принужденными рыданиями и бросился целовать руки своего барина. "Прощайте, барин!" – всхлипывая, говорил он.

Старуха матроска, стоявшая на крыльце, как женщина, не могла не присоединиться тоже к этой чувствительной сцене, начала утирать глаза грязным рукавом и приговаривать что-то о том, что уж на что господа, и те какие муки принимают, и что она, бедный человек, вдовой осталась, и рассказала в сотый раз пьяному Никите о своем горе: как ее мужа убили еще в первую *бандировку* и как ее домишко весь разбили (тот, в котором она жила, принадлежал не ей), и т. д., и т. д. По уходе барина Никита закурил трубку, попросил хозяйскую девочку сходить за водкой и весьма скоро перестал плакать, а напротив, побранился с старухой за какую-то ведерку, которую она ему будто бы раздавила.

"А может быть, только ранят, – рассуждал сам с собою штабс-капитан, уже сумерками подходя с ротой к бастиону. – Но куда? как? сюда или сюда? – думал он, мысленно указывая на живот и на грудь. – Вот ежели бы сюда, – он думал о верхней части ноги, – да кругом бы обошла. Ну, а как сюда да осколком – кончено!"

Штабс-капитан, однако, стибаясь, по траншеям благополучно дошел до ложементов, расставил с саперным офицером, уже в совершенной темноте, людей на работы и сел в ямочку под бруствером. Стрельба была малая; только изредка вспыхивали то у нас, то у *него* молнии, и светящаяся трубка бомбы прокладывала огненную дугу на темном звездном небе. Но все бомбы ложились далеко сзади и справа ложемента, в котором в ямочке сидел штабс-капитан, так что он успокоился отчасти, выпил водки, закусил мыльным сыром, закурил папиросу и, помолившись Богу, хотел заснуть немного.

## 5

Князь Гальцин, подполковник Нефердов, юнкер барон Пест, который встретил их на бульваре, и Праскухин, которого никто не звал, с которым никто не говорил, но который не отставал от них, все с бульвара пошли пить чай к Калугину.

– Ну так ты мне не досказал про Ваську Менделя, – говорил Калугин, сняв шинель,

сидя около окна на мягком, покойном кресле и расстегивая воротник чистой крахмальной голландской рубашки, – как же он женился?

– Умора, братец! Je vous dis, il y avait un temps ош on ne parlait que de за a Petersbourg, – сказал, смеясь, князь Гальцин, вскакивая от фортепьян, у которых он сидел, и садясь на окно подле Калугина, – просто умора. Уж я все это знаю подробно. – И он весело, умно и бойко стал рассказывать какую-то любовную историю, которую мы пропустим потому, что она для нас не интересна.

Но замечательно то, что не только князь Гальцин, но и все эти господа, расположившись здесь кто на окне, кто задравши ноги, кто за фортепьянами, казались совсем другими людьми, чем на бульваре: не было этой смешной надутости, высокомерности, которые они выказывали пехотным офицерам; здесь они были между своими в натуре, и особенно Калугин и князь Гальцин, очень милыми, веселыми и добрыми ребятами. Разговор шел о петербургских сослуживцах и знакомых.

– Что Маслоцкий?

– Который? лейб-улан или конногвардеец?

– Я их обоих знаю. Конногвардеец при мне мальчишка был, только что из школы вышел. Что старший – ротмистр?

– О! уж давно.

– Что, все возится с своей цыганкой?

– Нет, бросил, – и т. д. в этом роде.

Потом князь Гальцин сел к фортепьянам и славно спел цыганскую песенку. Праскухин, хотя никто не просил его, стал вторить, и так хорошо, что его уж просили вторить, чему он был очень доволен.

Человек вошел с чаем со сливками и крендельками на серебряном подносе.

– Подай князю, – сказал Калугин.

– А ведь странно подумать, – сказал Гальцин, взяв стакан и отходя к окну, – что мы здесь в осажденном городе: *фортапласы*, чай со сливками, квартира такая, что я, право, желал бы такую иметь в Петербурге.

– Да уж ежели бы еще этого не было, – сказал всем недовольный старый подполковник, – просто было бы невыносимо это постоянное ожидание чего-то... видеть, как каждый день бьют, бьют – и все нет конца, ежели при этом бы жить в грязи и не было бы удобств.

– А как же наши пехотные офицеры, – сказал Калугин, – которые живут на бастионах с солдатами, в блиндаже и едят солдатский борщ, – как им-то?

– Вот этого я не понимаю и, признаюсь, не могу верить, – сказал Гальцин, – чтобы люди в грязном белье, во вшах и с неумытыми руками могли бы быть храбры. Этак, знаешь, *cette belle bravoure de gentilhomme*, – не может быть.

– Да они и не понимают этой храбрости, – сказал Праскухин.

– Ну что ты говоришь пустяки, – сердито перебил Калугин, – уж я видел их здесь больше тебя и всегда и везде скажу, что наши пехотные офицеры хоть, правда, во вшах и по десять дней белья не переменяют, а это герои, удивительные люди.

В это время в комнату вошел пехотный офицер.

– Я... мне приказано... я могу ли явиться к ген... к его превосходительству от генерала NN? – спросил он, робея и кланяясь.

Калугин встал, но, не отвечая на поклон офицера, с оскорбительной учтивостью и натянутой официальной улыбкой спросил офицера, не угодно ли им подождать, и, не попросив его сесть и не обращая на него больше внимания, повернулся к Гальцину и заговорил по-французски, так что бедный офицер, оставшись посередине комнаты, решительно не знал, что делать с своей персоной и руками без перчаток, которые висели перед ним.

– По крайне нужному делу-с, – сказал офицер после минутного молчания.

– А! так пожалуйста, – сказал Калугин с той же оскорбительной улыбкой, надевая

шинель и провожая его к двери.

– Eh bien, messieurs, je crois que cela chauffera cette nuit[20], – сказал Калугин, выходя от генерала.

– А? что? что? вылазка? – стали спрашивать все.

– Уж не знаю – сами увидите, – отвечал Калугин с таинственной улыбкой.

– Да ты мне скажи, – сказал барон Пест, – ведь ежели есть что-нибудь, так я должен идти с Т. полком на первую вылазку.

– Ну, так и иди с Богом.

– И мой принцепал на бастионе, стало быть, и мне надо идти, – сказал Праскухин, надевая саблю, но никто не отвечал ему: он сам должен был знать, идти ли ему или нет.

– Ничего не будет, уж я чувствую, – сказал барон Пест, с замиранием сердца думая о предстоящем деле, но лихо набок падевая фуражку и громкими твердыми шагами выходя из комнаты вместе с Праскухиным и Нефердовым, которые тоже с тяжелым чувством страха торопились к своим местам. "Прощайте, господа". – "До свиданья, господа! еще нынче ночью увидимся", – прокричал Калугин из окошка, когда Праскухин и Пест, нагнувшись на луки казачьих седел, должно быть, воображая себя казаками, прорысили по дороге.

– Да, немножко! – прокричал юнкер, который не разобрал, что ему говорили, и топот казачьих лошадок скоро стих в темной улице.

– Non, dites moi, est-ce qu'il y aura veritablement quelque chose cettle nuit?[21] – сказал Гальцин, лежа с Калугиным на окошке и глядя на бомбы, которые поднимались над бастионами.

– Тебе я могу рассказать, видишь ли, ведь ты был на бастионах? (Гальцин сделал знак согласия, хотя он был только раз на четвертом бастионе). Так против нашего люнета[22] была траншея, – и Калугин, как человек неспециальный, хотя и считавший свои военные суждения весьма верными, начал, немного запутанно и перевирая фортификационные выражения, рассказывать положение наших и неприятельских работ и план предполагавшегося дела.

– Однако начинают попукивать около ложементов. Ого! Это наша или *его*? вон лопнула, – говорили они, лежа на окне, глядя на огненные линии бомб, скрещивающиеся в воздухе, на молнии выстрелов, на мгновение освещавшие темно-синее небо, и белый дым пороха и прислушиваясь к звукам все усиливающейся и усиливающейся стрельбы.

– Quel charmant coup d'oeil![23] А? – сказал Калугин, обращая внимание своего гостя на это действительно красивое зрелище. – Знаешь, звезды не различишь от бомбы иногда.

– Да, я сейчас думал, что это звезда, а она опустилась, вот лопнула, а эта большая звезда – как ее зовут? – точно как бомба.

– Знаешь, я до того привык к этим бомбам, что, я уверен, в России в звездную ночь мне будет казаться, что это всё бомбы: так привыкнешь.

– Однако не пойти ли мне на эту вылазку? – сказал князь Гальцин после минутного молчания, содрогаясь при одной мысли быть *там* во время такой страшной канонады и с наслаждением думая о том, что его ни в каком случае не могут послать туда ночью.

– Полно, братец! и не думай, да и я тебя не пущу, – отвечал Калугин, очень хорошо зная, однако, что Гальцин ни за что не пойдет туда. – Еще успеешь, братец!

– Серьезно? Так думаешь, что не надо ходить? а? В это время в том направлении, по которому смотрели эти господа, за артиллерийским гулом послышалась ужасная трескотня ружей, и тысячи маленьких огней, беспрестанно вспыхивая, заблестели по всей линии.

– Вот оно когда пошло настоящее! – сказал Калугин. – Этого звука ружейного я слышать не могу хладнокровно, как-то, знаешь, за душу берет. Вон и "ура", – прибавил он, прислушиваясь к дальнему протяжному гулу сотен голосов: «а-а-а-а» – доносившихся до него с бастиона.

– Чье это "ура"? их или наше?

– Не знаю, но это уж рукопашная пошла, потому что стрельба затихла.

В это время под окном, к крыльцу, подскакал ординарец офицер с казаком и слез с



лошади.

– Откуда?

– С бастиона. Генерала нужно.

– Пойдемте. Ну что?

– Атаковали ложементы... заняли... французы подвели огромные резервы... атаковали наших... было только два батальона, – говорил, запыхавшись, тот же самый офицер, который приходил вечером, с трудом переводя дух, но совершенно развязно направляясь к двери.

– Что ж, отступили? – спросил Гальцин.

– Нет, – сердито отвечал офицер, – подоспел батальон, отбили, но полковой командир убит, офицеров много, приказано просить подкрепления...

И с этими словами он с Калугиным прошел к генералу, куда уже мы не последуем за ними.

Через пять минут Калугин сидел верхом на казачьей лошади (и опять тон особенной quasi-казацкой посадкой, в которой, я замечал, вес адъютанты видят почему-то что-то особенно приятное) и рысцой ехал на бастион, с тем чтобы передать туда некоторые приказания и дожидаться известий об окончательном результате дела; а князь Гальцин, под влиянием того тяжелого волнения, которое производят обыкновенно близкие признаки дела на зрителя, не принимающего в нем участия, вышел на улицу и без всякой цели стал взад и вперед ходить по ней.

## 6

Толпы солдат несли на носилках и вели под руки раненых. На улице было совершенно темно; только редко, редко где светились окна в госпитале или у засидевшихся офицеров. С бастионов доносился тот же грохот орудий и ружейной перепалки, и те же огни вспыхивали на черном небе. Изредка слышался топот лошади проскакавшего ординарца, стон раненого, шаги и говор носильщиков или женский говор испуганных жителей, вышедших на крылечко посмотреть на канонаду.

В числе последних был и знакомый нам Никита, старая матроска, с которой он помирился уже, и десятилетняя дочь ее.

– Господи, Мати Пресвятыя Богородицы! – говорила в себя и вздыхая старуха, глядя на бомбы, которые, как огненные мячики, беспрестанно перелетали с одной стороны на другую. – Страсти-то, страсти какие! И-и-хи-хи. Такого и в первую бандировку не было. Вишь, где лопнула проклятая, – прямо над нашим домом в слободке.

– Нет, это дальше, к тетиньке Аринке в сад всё попадают, – сказала девочка.

– И где-то, где-то барин мой таперича? – сказал Никита нараспев и еще пьяный немного. – Уж как я люблю евтого барина своего, так сам не знаю. Он меня бьет, а все-таки я его ужасно как люблю. Так люблю, что если, избави Бог, да убьют его грешным делом, так, верите ли, тетинька, я после евтого сам не знаю, что могу над собой произвести. Ей-богу! Уж такой барии, что одно слово! Разве с евtimi сменить, что тут в карты играют, – это что – тьфу! – одно слово! – заключил Никита, указывая на светящееся окно комнаты барина, в которой во время отсутствия штабс-капитана юнкер Жвадческий позвал к себе на кутеж, по случаю получения креста, гостей: подпоручика Угровича и поручика Непшитшетского, того самого, которому надо было идти на бастион и который был нездоров флюсом.

– Звездочки-то, звездочки так и катятся, – глядя на небо, прервала девочка молчание, последовавшее за словами Никиты, – вон, вон еще скатилась! К чему это так? а маынька?

– Совсем разобьют домишко наш, – сказала старуха, вздыхая и не отвечая на вопрос девочки.

– А как мы нонче с дяинькой ходили туда, маынька, – продолжала певучим голосом разговарившая девочка, – так большущая такая ядро в самой комнатке подле шкапа лежит; она сенцы, видно, пробила да в горницу и влетела. Такая большущая, что не поднимешь.

– У кого были мужья да деньги, так повыехали, – говорила старуха, – а тут – ох, горе-то, горе, последний домишко и тот разбили. Вишь как, вишь как палит злодей! Господи, Господи!

– А как нам только выходить, как одна бомба прилети-и-ит, как лопни-и-ит, как – засыпи-и-ит землю, так даже чуть-чуть нас с дяинькой одним оскретком не задело.

– Крест ей за это надо, – сказал юнкер, который вместе с офицерами вышел в это время на крыльцо посмотреть на перепалку.

– Ты сходи до генерала, старуха, – сказал поручик Непшитшетский, трепля ее по плечу, – право!

– *Rujdz na ulick zobaczuj, so tam nowego*[24], – прибавил он, спускаясь с лесенки.

– *A ty tym czasem napijmy sie wydki, bo соъ dusza w pietu usieka*[25], – сказал, смеясь, веселый юнкер Жвадчевский.

## 7

Все больше и больше раненых на носилках и пешком, поддерживаемых один другими и громко разговаривающих между собой, встречалось князю Гальцину.

– Как они подскочили, братцы мои, – говорил басом один высокий солдат, несший два ружья за плечами, – как подскочили, как крикнут: Алла, Алла![26] так-так друг на друга и лезут. Одних бьешь, а другие лезут – ничего не сделаешь. Видимо-невидимо...

Но в этом месте рассказа Гальцин остановил его.

– Ты с бастиона?

– Так точно, ваше благородие.

– Ну, что там было? Расскажи.

– Да что было? Подступила их, ваше благородие, сила, лезут на вал, да и шабаш. Одолели совсем, ваше благородие!

– Как одолели? Да ведь вы отбили же?

– Где тут отбить, когда его вся сила подошла: перебил всех наших, а сикурсу[27] не подают. (Солдат ошибался, потому что траншея была за нами, по это – странность, которую всякий может заметить: солдат, раненный в деле, всегда считает его проигранным и ужасно кровопролитным.)

– Как же мне говорили, что отбили, – с досадой сказал Гальцин.

В это время поручик Непшитшетский в темноте, по белой фуражке, узнав князя Гальцина и желая воспользоваться случаем, чтобы поговорить с таким важным человеком, подошел к нему.

– Не изволите ли знать, что это такое было? – спросил он учтиво, дотрагиваясь рукою до козырька.

– Я сам спрашиваю, – сказал князь Гальцин и снова обратился к солдату с двумя ружьями, – может быть, после тебя отбили? Ты давно оттуда?

– Сейчас, ваше благородие! – отвечал солдат. – Вряд ли, должно, за ним траншея осталась, – совсем одолел.

– Ну, как вам не стыдно – отдали траншею. Это ужасно! – сказал Гальцин, огорченный этим равнодушием. – Как вам не стыдно! – повторил он, отворачиваясь от солдата.

– О! это ужасный народ! Вы их не изволите знать, – подхватил поручик Непшитшетский, – я вам скажу, от этих людей ни гордости, ни патриотизма, ни чувства лучше не спрашивайте. Вы вот посмотрите, эти толпы идут, ведь тут десятой доли нет раненых, а то всё *асистенты*, только бы уйти дела. Подлый народ! Срам так поступать, ребята, срам! Отдать *нашу* траншею! – добавил он, обращаясь к солдатам.

– Что ж, когда *сила!* – проворчал солдат.

– И! ваши благородия, – заговорил в это время солдат с носилок, поравнявшихся с

ними, – как же не отдать, когда перебил всех почитай? Кабы наша сила была, ни в жисть бы не отдали. А то что сделаешь? Я одного заколол, а тут меня как ударит... О-ох, легче, братцы, ровнее, братцы, ровней иди... о-о-о! – застонал раненый.

– А в самом деле, кажется, много лишнего народа идет, – сказал Гальцин, останавливая опять того же высокого солдата с двумя ружьями. – Ты зачем идешь? Эй ты, остановись!

Солдат остановился и левой рукой снял шапку.

– Куда ты идешь и зачем? – закричал он на него строго. – Него...

Но в это время, совсем вплоть подойдя к солдату, он наметил, что правая рука его была за обшлагом и в крови выше локтя.

– Ранен, ваше благородие!

– Чем ранен?

– Сюда-то, должно, пулей, – сказал солдат, указывая на руку, – а уж здесь не могу знать, чем голову-то прошибло, – и, нагнув ее, показал окровавленные и слипшиеся волосы на затылке.

– А ружье другое чье?

– Ступер французской, ваше благородие, отнял; да я бы не пошел, кабы не евтого солдатака проводить, а то упадет неравно, – прибавил он, указывая на солдата, который шел немного впереди, опираясь на ружье и с трудом таща и передвигая левую ногу.

– А ты где идешь, мерзавец! – крикнул поручик Непшитшетский на другого солдата, который попался ему навстречу, желая своим рвением прислужиться важному князю. Солдат тоже был ранен.

Князю Гальцину вдруг ужасно стыдно стало за поручика Непшитшетского и еще больше за себя. Он почувствовал, что краснеет – что редко с ним случалось, – отвернулся от поручика и, уже больше не расспрашивая раненых и не наблюдая за ними, пошел на перевязочный пункт.

С трудом пробившись на крыльце между пешком шедшими ранеными и носильщиками, входившими с ранеными и выходявшими с мертвыми, Гальцин вошел в первую комнату, взглянул и тотчас же невольно повернулся назад и выбежал на улицу. Это было слишком ужасно!

## 8

Большая, высокая темная зала – освещенная только 4 или 5-ю свечами, с которыми доктора подходили осматривать раненых, – была буквально полна. Носильщики беспрестанно вносили раненых, складывали их один подле другого на пол, на котором уже было так тесно, что несчастные толкались и мокли в крови друг друга, и шли за новыми. Лужи крови, видные на местах незанятых, горячее дыхание нескольких сотен человек и испарения рабочих с носилками производили какой-то особенный, тяжелый, густой, вонючий смрад, в котором пасмурно горели 4 свечи на различных концах залы. Говор разнообразных стонов, вздохов, хрипений, прерываемый иногда пронзительным криком, носился по всей комнате. Сестры, с спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с водой, бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубахами. Доктора, с мрачными лицами и засученными рукавами, стоя на коленях перед ранеными, около которых фельдшера держали свечи, всовывали пальцы в пульные раны, ощупывая их, и переворачивали отбитые висевшие члены, несмотря на ужасные стоны и мольбы страдальцев. Один из докторов сидел около двери за столиком и в ту минуту, как в комнату вошел Гальцин, записывал уже 532-го.

– Иван Богаев, рядовой 3-ей роты С. полка, *fractura femoris complicata*[28], – кричал другой из конца залы, ущупывая разбитую ногу. – Переверни-ка его.

– О-ой, отцы мои, вы наши отцы! – кричал солдат, умоляя, чтобы его не трогали.

– Perforatio capitis[29].

– Семен Нефордов, подполковник Н. пехотного полка. Вы немножко потерпите, полковник, а то этак нельзя, я брошу, – говорил третий, ковыряя каким-то крючком в голове несчастного подполковника.

– Ай, не надо! Ой, ради Бога, скорее, скорее, ради... а-а-а-а!

– Perforatio pecloris...[30] Севастьян Середа, рядовой... какого полка?... впрочем, не пишите: moritur[31]. Несите его, – сказал доктор, отходя от солдата, который, закатив глаза, хрипел уже...

Человек 40 солдат-носильщиков, дожидаясь ноши перевязанных в госпиталь и мертвых в часовню, стояли у дверей и молча, изредка тяжело вздыхая, смотрели на эту картину...

## 9

По дороге к бастиону Калугин встретил много раненых; но, по опыту зная, как в деле дурно действует на дух человека это зрелище, он не только не останавливался расспрашивать их, но, напротив, старался не обращать на них никакого внимания. Под горой ему попался ординарец, который, марш-марш, скакал с бастиона.

– Зобкин! Зобкин! Пойдите на минутку.

– Ну, что?

– Вы откуда?

– Из ложементов.

– Ну как там? жарко?

– Ад, ужасно!

И ординарец поскакал дальше.

Действительно, хотя ружейной стрельбы было мало, канонада завязалась с новым жаром и ожесточением.

"Ах, скверно!" – подумал Калугин, испытывая какое-то неприятное чувство, и ему тоже пришло предчувствие, то есть мысль очень обыкновенная – мысль о смерти. Но Калугин был не штабс-капитан Михайлов, он был самолюбив и одарен деревянными нервами, то, что называют храбр, одним словом. Он не поддавался первому чувству и стал ободрять себя. Вспомнил про одного адъютанта, кажется Наполеона, который, передав приказания, марш-марш, с окровавленной головой подскакал к Наполеону.

– Vous ktes blessй?[32] – сказал ему Наполеон.

– Je vous demande pardon, sire, je suis tуй[33], – и адъютант упал с лошади и умер на месте.

Ему показалось, это очень хорошо, и он вообразил себя даже немножко этим адъютантом, потом ударил лошадь плетью, принял еще более лихую *казацкую посадку*, оглянулся на казака, который, стоя на стременах, рысил за ним, и совершенным молодцом приехал к тому месту, где надо было слезать с лошади. Здесь он нашел 4-х солдат, которые, усевшись на камушки, курили трубки.

– Что вы здесь делаете? – крикнул он на них.

– Раненого отводили, ваше благородие, да отдохнуть присели, – отвечал один из них, пряча за спину трубку и снимая шапку.

– То-то отдохнуть! марш к своим местам, вот я полковому командиру скажу.

И он вместе с ними пошел по траншее в гору, на каждом шагу встречая раненых. Поднявшись в гору, он повернул в траншею налево и, пройдя по ней несколько шагов, очутился совершенно один. Близехонько от него прожужжал осколок и ударился в траншею. Другая бомба поднялась перед ним и, казалось, летела прямо на него. Ему вдруг сделалось страшно: он рысью пробежал шагов пять и упал на землю. Когда же бомба лопнула, и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения, но никого не было.

Уже раз проникнув в душу, страх не скоро уступает место другому чувству; он, который всегда хвастался, что никогда не погибает, ускоренными шагами и чуть-чуть не ползком пошел по траншее. "Ах, нехорошо! – подумал он, спотыкнувшись, – непременно убьют", – и, чувствуя, как трудно дышалось ему и как пот выступал по всему телу, он удивлялся самому себе, но уже не пытался преодолеть своего чувства.

Вдруг чьи-то шаги послышались впереди его. Он быстро разогнулся, поднял голову и, бодро побрякивая саблей, пошел уже не такими скорыми шагами, как прежде. Он не узнавал себя. Когда он сошелся с встретившимся ему саперным офицером и матросом и первый крикнул ему: "Ложитесь!", указывая на светлую точку бомбы, которая, светлее и светлее, быстрее и быстрее приближаясь, шлепнулась около траншеи, он только немного и невольно, под влиянием испуганного крика, нагнул голову и пошел дальше.

– Вишь, какой бравый! – сказал матрос, который преспокойно смотрел на падавшую бомбу и опытным глазом сразу расчел, что осколки ее не могут задеть в траншее, – и ложиться не хочет.

Уже несколько шагов только оставалось Калугину перейти через площадку до блиндажа командира бастиона, как опять на него нашло затмение и этот глупый страх; сердце забило сильнее, кровь хлынула в голову, и ему нужно было усилие над собою, чтобы пробежать до блиндажа.

– Что вы так запыхались? – сказал генерал, когда он ему передал приказания.

– Шел скоро очень, ваше превосходительство!

– Не хотите ли вина стакан?

Калугин выпил стакан вина и закурил папиросу. Дело уже прекратилось, только сильная канонада продолжалась с обеих сторон. В блиндаже сидел генерал NN, командир бастиона и еще человек шесть офицеров, в числе которых был и Праскухин, и говорили про разные подробности дела. Сидя в этой уютной комнатке, обитой голубыми обоями, с диваном, кроватью, столом, на котором лежат бумаги, стенными часами и образом, перед которым горит лампадка, глядя на эти признаки жилья и на толстые аршинные балки, составлявшие потолок, и слушая выстрелы, казавшиеся слабыми в блиндаже, Калугин решительно понять не мог, как он два раза позволил себя одолеть такой непростительной слабости; он сердился на себя, и ему хотелось опасности, чтобы снова испытать себя.

– А вот я рад, что и вы здесь, капитан, – сказал он морскому офицеру в штаб-офицерской шинели, с большими усами и Георгием, который вошел в это время в блиндаж и просил генерала дать ему рабочих, чтобы исправить на его батарее две амбразуры, которые были засыпаны. – Мне генерал приказал узнать, – продолжал Калугин, когда командир батареи перестал говорить с генералом, – могут ли ваши орудия стрелять по траншее картечью?

– Одно только орудие может, – угрюмо отвечал капитан.

– Все-таки пойдете посмотрим. Капитан нахмурился и сердито крикнул.

– Уж я всю ночь там простоял, пришел хоть отдохнуть немного, – сказал он, – нельзя ли вам одним сходить? там мой помощник, лейтенант Карц, вам все покажет.

Капитан уже 6 месяцев командовал этой одной из самых опасных батарей, – и даже, когда не было блиндажей, не выходя, с начала осады жил на бастионе и между моряками имел репутацию храбрости. Поэтому-то отказ его особенно поразил и удивил Калугина.

"Вот репутации!" – подумал он.

– Ну, так я пойду один, если вы позволите, – сказал он несколько насмешливым тоном капитану, который, однако, не обратил на его слова никакого внимания.

Но Калугин не сообразил того, что он в разные времена всего-навсего провел часов 50 на бастионах, тогда как капитан жил там 6 месяцев. Калугина еще возбуждали тщеславие – желание блеснуть, надежда на награды, на репутацию и прелесть риска; капитан же уж прошел через все это – сначала тщеславился, храбрился, рисковал, надеялся на награды и репутацию и даже приобрел их, но теперь уже все эти побудительные средства потеряли для него силу, и он смотрел на дело иначе: исполнял в точности свою обязанность, но, хорошо

понимая, как мало ему оставалось случайностей жизни, после шестимесячного пребывания на бастионе уже не рисковал этими случайностями без строгой необходимости, так что молодой лейтенант, с неделю тому назад поступивший на батарею и показывавший теперь ее Калугину, с которым они бесполезно друг перед другом высовывались в амбразуры и вылезали на банкеты[34], казался в десять раз храбрее капитана.

Осмотрев батарею и направляясь назад к блиндажу, Калугин наткнулся в темноте на генерала, который с своими ординарцами шел на вышку.

– Ротмистр Праскухин! – сказал генерал. – Сходите, пожалуйста, в правый ложемент и скажите 2-му батальону М. полка, который там на работе, чтоб он оставил работу, не шумя вышел оттуда и присоединился бы к своему полку, который стоит под горой в резерве. Понимаете? Сами отведите к полку.

– Слушаю-с.

И Праскухин рысью побежал к ложементу.

Стрельба становилась реже.

## 10

– Это 2-й батальон М. полка? – спросил Праскухин, прибежав к месту и наткнувшись на солдат, которые в мешках носили землю.

– Так точно-с.

– Где командир?

Михайлов, полагая, что спрашивают ротного командира, вылез из своей ямочки и, принимая Праскухина за начальника, держа руку у козырька, подошел к нему.

– Генерал приказал... вам... извольте идти... поскорей... и главное потише... назад, не назад, а к резерву, – говорил Праскухин, искоса поглядывая по направлению огней неприятеля.

Узнав Праскухина, опустив руку и разобрав, в чем дело, Михайлов передал приказанье, и батальон весело зашевелился, забрал ружья, надел шинели и двинулся.

Кто не испытал, тот не может вообразить себе того наслаждения, которое ощущает человек, уходя после трех часов бомбардированья из такого опасного места, как ложементы. Михайлов, в эти три часа уже несколько раз считавший свой конец неизбежным и несколько раз успевший перецеловать все образа, которые были на нем, под конец успокоился немного, под влиянием того убеждения, что его непременно убьют и что он уже не принадлежит этому миру. Несмотря ни на что, однако, ему большого труда стоило удержать свои ноги, чтобы они не бежали, когда он перед ротой, рядом с Праскухиным, вышел из ложементов.

– До свиданья, – сказал ему майор, командир другого батальона, который оставался в ложементах и с которым они вместе закусывали мыльным сыром, сидя в ямочке около бруствера, – счастливого пути!

– И вам желаю счастливо отстоять; теперь, кажется, затихло.

Но только что он успел оказать это, как неприятель, должно быть, заметив движение в ложементах, стал палить чаще и чаще. Наши стали отвечать ему, и опять поднялась сильная канонада. Звезды высоко, но не ярко блестели на небе; ночь была темна – хоть глаз выколи, – только огни выстрелов и разрыва бомб мгновенно освещали предметы. Солдаты шли скоро и молча и невольно перегоня друг друга; только слышны были за беспрестанными раскатами выстрелов мерный звук их шагов по сухой дороге, звук столкнувшихся штыков или вздох и молитва какого-нибудь робкого солдатика: "Господи, господи! что это такое!" Иногда слышался стон раненого и крики: "Носилки!" (В роте, которой командовал Михайлов, от одного артиллерийского огня выбыло в ночь 26 человек.) Вспыхивала молния на мрачном далеком горизонте, часовой с бастиона кричал: "Пу-уш-ка!", и ядро, жужжа над ротой, взрывало землю и взбрасывало камни.

"Черт возьми! как они тихо идут, – думал Праскухин, беспрестанно оглядываясь назад,

шагая подле Михайлова, – право, лучше побегу вперед, ведь я передал приказанье... Впрочем, нет, ведь эта скотина может рассказывать потом, что я трус, почти так же, как я вчера про него рассказывал. Что будет, то будет – пойду рядом".

"И зачем он идет со мной, – думал, с своей стороны, Михайлов, – сколько я ни замечал, он всегда приносит несчастье; вот она еще летит прямо сюда, кажется".

Пройдя несколько сот шагов, они столкнулись с Калугиным, который, бодро побрякивая саблей, шел к ложементам, с тем чтобы, по приказанию генерала, узнать, как подвинулись там работы. Но, встретив Михайлова, он подумал, что, чем ему самому под этим страшным огнем идти туда, чего и не было ему приказано, он может расспросить все подробно у офицера, который был там. И действительно, Михайлов подробно рассказал про работы, хотя во время рассказа и немало позабавил Калугина, который, казалось, никакого внимания не обращал на выстрелы, – тем, что при каждом снаряде, иногда падавшем и весьма далеко, приседал, нагибал голову и все уверял, что "это прямо сюда".

– Смотрите, капитан, это прямо сюда, – сказал, подшучивая, Калугин и толкая Праскухина. Пройдя еще немного с ними, он повернул в траншею, ведущую к блиндажу. "Нельзя сказать, чтобы он был очень храбр, этот капитан", – подумал он, входя в двери блиндажа.

– Ну, что новенького? – спросил офицер, который, ужиная, один сидел в комнате.

– Да ничего, кажется, что уж больше дела не будет.

– Как не будет? напротив, генерал сейчас опять пошел на вышку. Еще полк пришел. Да вот она, слышите? опять пошла ружейная. Вы не ходите. Зачем вам? – прибавил офицер, заметив движение, которое сделал Калугин.

"А мне, по-настоящему, непременно надо там быть, – подумал Калугин, – но уж я и так нынче много подвергал себя. Надеюсь, что я нужен не для одной chair a canon"[35].

– И в самом деле, я их лучше тут подожду, – сказал он.

Действительно, минут через двадцать генерал вернулся вместе с офицерами, которые были при нем; в числе их был и юнкер барон Пест, но Праскухина не было. Ложементы были отбиты и заняты нами.

Получив подробные сведения о деле, Калугин вместе с Пестом вышел из блиндажа.

## 11

– У тебя шинель в крови: неужели ты дрался в рукопашном? – спросил его Калугин.

– Ах, братец, ужасно! можешь себе представить... – И Пест стал рассказывать, как он вел всю роту, как ротный командир был убит, как он заколол француза и что ежели бы не он, то ничего бы не было и т. д.

Основания этого рассказа, что ротный командир был убит и что Пест убил француза, были справедливы; но, передавая подробности, юнкер выдумывал и хвастал.

Хвастал невольно, потому что, во время всего дела находясь в каком-то тумане и забытый до такой степени, что все, что случилось, казалось ему случившимся где-то, когда-то и с кем-то, очень естественно, он старался воспроизвести эти подробности с выгодной для себя стороны. Но вот как это было действительно.

Батальон, к которому прикомандирован был юнкер для вылазки, часа два под огнем стоял около какой-то стенки; потом батальонный командир впереди сказал что-то, ротные командиры зашевелились, батальон тронулся, вышел из-за бруствера и, пройдя шагов 100, остановился, построившись в ротные колонны. Песту сказали, чтобы он стал на правом фланге 2-й роты.

Решительно не отдавая себе отчета, где и зачем он был, юнкер стал на место и с невольно сдержанным дыханием и холодной дрожью, пробегавшей по спине, бессознательно смотрел вперед в темную даль, ожидая чего-то страшного. Ему, впрочем, не столько страшно было, потому что стрельбы не было, сколько дико, странно было подумать, что он находился

вне крепости, в поле. Опять батальонный командир впереди сказал что-то. Опять шепотом заговорили офицеры, передавая приказания, и черная стена первой роты вдруг опустилась. Приказано было лечь. Вторая рота легла также, и Пест, ложась, наколот руку на какую-то колючку. Не лег только один командир 2-й роты, его невысокая фигура, с вынутой шпагой, которой он размахивал, не переставая говорить, двигалась перед ротой.

– Ребята! смотри, молодцами у меня! С ружей не палить, а штыками их, каналов. Когда я крикну "ура!" – за мной и не отставать... Дружней, главное дело... покажем себя, не ударим лицом в грязь, а, ребята? За царя, за батюшку! – говорил он, пересыпая свои слова ругательствами и ужасно размахивая руками.

– Как фамилия нашего ротного командира? – спросил Пест у юнкера, который лежал рядом с ним. – Какой он храбрый!

– Да, как в дело, всегда – мертвецки, – отвечал юнкер, – Лисинковский его фамилия.

В это время перед самой ротой мгновенно вспыхнуло пламя, раздался ужаснейший треск, оглушил всю роту, и высоко в воздухе зашуршели камни и осколки (по крайней мере, секунд через 50 один камень упал сверху и отбил ногу солдату). Это была бомба с *элевационного станка* [37], и то, что она попала в роту, доказывало, что французы заметили колонну.

– Бомбами пускать! Сукин сын... е... твою м... Дай только добраться, тогда попробуешь штыка трехгранного русского, проклятый! – заговорил ротный командир так громко, что батальонный командир должен был приказать ему молчать и не шуметь так много.

Вслед за этим первая рота встала, за ней вторая – приказано было взять ружья наперевес, и батальон пошел вперед. Пест был в таком страхе, что он решительно не помнил, долго ли? куда? и кто, на что? Он шел как пьяный. Но вдруг со всех сторон заблестело мильон огней, засвистело, затрещало что-то; он закричал и побежал куда-то, потому что все бежали и все кричали. Потом он спотыкнулся и упал на что-то – это был ротный командир (который был ранен впереди роты и, принимая юнкера за француза, схватил его за ногу). Потом, когда он вырвал ногу и приподнялся, на него в темноте спиной наскочил какой-то человек и чуть опять не сбил с ног, другой человек кричал: "Коли его! что смотришь?" Кто-то взял ружье и воткнул штык во что-то мягкое. "A moi, camarades! Ah, sacgй b..... Ah! Dieu!" [38] – закричал кто-то страшным, пронзительным голосом, и тут только Пест понял, что он заколот француза.

Холодный пот выступил у него по всему телу, он затрясся, как в лихорадке, и бросил ружье. Но это продолжалось только одно мгновение; ему тотчас же пришло в голову, что он герой. Он схватил ружье и вместе с толпой, крича "ура", побежал прочь от убитого француза, с которого тут же солдат стал снимать сапоги. Пробежав шагов 20, он прибежал в траншею. Там были наши и батальонный командир.

– А я заколот одного! – сказал он батальонному командиру.

– Молодцом, барон....

## 12

– А знаешь, Праскухин убит, – сказал Пест, провожая Калугина, который шел к дому.

– Не может быть!

– Как же, я сам его видел.

– Прощай, однако, мне надо скорее.

"Я очень доволен, – думал Калугин, возвращаясь к дому, – в первый раз на мое дежурство счастье. Отличное дело, я – жив и цел, представления будут отличные, и уж непременно золотая сабля. Да, впрочем, я и стою ее".

Доложив генералу все, что нужно было, он пришел в свою комнату, в которой, уже давно вернувшись и дожидаясь его, сидел князь Гальцин, читая "Splendeur et mesures des



courtisanes"[39], которую нашел на столе Калугина.

С удивительным наслаждением Калугин почувствовал себя дома, вне опасности, и, надев ночную рубашку, лежа в постели, уж рассказал Гальцину подробности дела, передавая их весьма естественно, – с той точки зрения, с которой подробности эти доказывали, что он, Калугин, весьма дельный и храбрый офицер, на что, мне кажется, излишне бы было намекать, потому что это все знали и не имели никакого права и повода сомневаться, исключая, может быть, покойника ротмистра Праскухина, который, несмотря на то, что, бывало, считал за счастье ходить под руку с Калугиным, вчера только по секрету рассказывал одному приятелю, что Калугин очень хороший человек, но, между нами будь сказано, ужасно не любит ходить на бастионы.

Только что Праскухин, идя рядом с Михайловым, разошелся с Калугиным и, подходя к менее опасному месту, начинал уже оживать немного, как он увидел молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услышал крик часового: "Маркела!" – и слова одного из солдат, шедших сзади: "Как раз на батальон прилетит!"

Михайлов оглянулся: светлая точка бомбы, казалось, остановилась на своем зените – в том положении, когда решительно нельзя определить ее направления. Но это продолжалось только мгновение: бомба быстрее и быстрее, ближе и ближе, так что уже видны были искры трубки и слышно роковое посвистывание, опускалась прямо в середину батальона.

– Ложись! – крикнул чей-то испуганный голос.

Михайлов упал на живот. Праскухин невольно согнулся до самой земли и зажмурился; он слышал только, как бомба где-то очень близко шлепнулась на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом, – бомбу не рвало. Праскухин испугался, не напрасно ли он струсил, – может быть, бомба упала далеко и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с самолюбивым удовольствием увидел, что Михайлов, которому он должен 12 рублей с полтиной, гораздо ниже и около самых ног его, недвижимо, прижавшись к нему, лежал на брюхе. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой, в аршине от него, крутившейся бомбы.

Ужас – холодный, исключаящий все другие мысли и чувства ужас – объял все существо его; он закрыл лицо руками и упал на колена.

Прошла еще секунда – секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его соображении.

"Кого убьет – меня или Михайлова? Или обоих вместе? А коли меня, то куда? в голову, так все кончено; а ежели в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом, – и я могу еще жив остаться. А может быть, одного Михайлова убьет, тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, и его убило и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе – меня".

Тут он вспомнил про 12 рублей, которые был должен Михайлову, вспомнил еще про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить; цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову; Женщина, которую он любил, явилась ему в воображении, в чепце с лиловыми лентами; человек, которым он был оскорблен 5 лет тому назад и которому он не оплатил за оскорбление, вспомнился ему, хотя вместе, нераздельно с этими и тысячами других воспоминаний, чувство настоящего – ожидания смерти и ужаса – ни на мгновение не покидало его. "Впрочем, может быть, не лопнет", – подумал он и с отчаянной решимостью хотел открыть глаза. Но в это мгновение, еще сквозь закрытые веки, глаза его поразил красный огонь, с страшным треском что-то толкнуло его в середину груди; он побежал куда-то, спотыкнулся на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок.

"Слава Богу! Я только контужен", – было его первою мыслью, и он хотел руками дотронуться до груди, – но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавливали голову. В глазах его мелькали солдаты – и он бессознательно считал их: "Один, два, три солдата, а вот в подвернутой шинели офицер", – думал он; потом молния блеснула в его глазах, и он думал, из чего это выстрелили: из мортиры или из пушки? Должно быть, из пушки; а вот еще выстрелили, а вот еще солдаты – пять, шесть, семь солдат, идут всё мимо.

Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его; он хотел крикнуть, что он контужен, но рот был так сух, что язык прилип к нёбу, и ужасная жажда мучила его. Он чувствовал, как мокро было у него около груди, – это ощущение мокроты напоминало ему о воде, и ему хотелось бы даже выпить то, чем это было мокро. "Верно, я в кровь разбился, как упал", – подумал он, и, все более и более начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо, раздавят его, он собрал все силы и хотел закричать: "Возьмите меня", – но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало, слушая себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах, – и ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни все прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди.

### 13

Михайлов, увидав бомбу, упал на землю и так же зажмурился, так же два раза открывал и закрывал глаза и так же, как и Праскухин, необъятно много передумал и перечувствовал в эти две секунды, во время которых бомба лежала неразорванной. Он мысленно молился Богу и все твердил: "Да будет воля твоя! И зачем я пошел в военную службу, – вместе с тем думал он, – и еще перешел в пехоту, чтобы участвовать в кампании; не лучше ли было мне оставаться в уланском полку в городе Т., проводить время с моим другом Наташей... а теперь вот что!" И он начал считать: раз, два, три, четыре, загадывая, что ежели разорвет в чет, то он будет жив, а в нечет – то будет убит. "Все кончено! – убит!" – подумал он, когда бомбу разорвало (он не помнил, в чет или нечет), и он почувствовал удар и жестокую боль в голове. "Господи, прости мои согрешения!" – проговорил он, всплеснув руками, приподнялся и без чувств упал навзничь.

Первое ощущение, когда он очнулся, была кровь, которая текла по носу, и боль в голове, становившаяся гораздо слабее. "Это душа отходит, – подумал он, – что будет там? Господи! Приими дух мой с миром. Только одно странно, – рассуждал он, – что, умирая, я так ясно слышу шаги солдат и звуки выстрелов".

– Давай носилки – эй! ротного убило! – крикнул над его головой голос, который он невольно узнал за голос барабанщика Игнатьева.

Кто-то взял его за плечи. Он попробовал открыть глаза и увидел над головой темно-синее небо, группы звезд и две бомбы, которые летели над ним, догоняя одна другую, увидел Игнатьева, солдат с носилками и ружьями, вал траншеи и вдруг поверил, что он еще не на том свете.

Он был камнем легко ранен в голову. Самое первое впечатление его было как будто сожаление: он так было хорошо и спокойно приготовился к переходу *туда*, что на него неприятно подействовало возвращение к действительности, с бомбами, траншеями, солдатами и кровью; второе впечатление его была бессознательная радость, что он жив, и третье – страх и желание уйти скорей с бастиона. Барабанщик платком завязал голову своему командиру и, взяв его под руку, повел к перевязочному пункту.

"Куда и зачем я иду, однако? – подумал штабс-капитан, когда он опомнился немного. —

Мой долг оставаться с ротой, а не уходить вперед, тем более что и рота скоро выйдет из-под огня, – шепнул ему какой-то голос, – а с раной остаться в деле – непременно награда".

– Не нужно, братец, – сказал он, вырывая руку от услужливого барабанщика, которому, главное, самому хотелось поскорее выбраться отсюда, – я не пойду на перевязочный пункт, а останусь с ротой.

И он повернул назад.

– Вам бы лучше перевязаться, ваше благородие, как следует, – сказал робкий Игнатьев, – ведь это сгоряча она только оказывает, что ничего, а то хуже бы не сделать, ведь

тут вон какая жарня идет... право, ваше благородие.

Михайлов остановился на минуту в нерешительности и, кажется, последовал бы совету Игнатьева, ежели бы не вспомнилась ему сцена, которую он на днях видел на перевязочном пункте: офицер с маленькой царапиной на руке пришел перевязываться, и доктора улыбались, глядя на него, и даже один – с бакенбардами – сказал ему, что он никак не умрет от этой раны и что вилкой можно больней уколоться.

"Может быть, так же недоверчиво улыбнутся и моей ране, да еще скажут что-нибудь", – подумал штабс-капитан и решительно, несмотря на доводы барабанщика, пошел назад к роте.

– А где ординарец Праскухин, который шел со мной? – спросил он прапорщика, который вел роту, когда они встретились.

– Не знаю, убит, кажется, – неохотно отвечал прапорщик, который, между прочим, был очень недоволен, что штабс-капитан вернулся и тем лишил его удовольствия сказать, что он один офицер остался в роте.

– Убит или ранен? Как же вы не знаете, ведь он с нами шел. И отчего вы его не взяли?

– Где тут было брать, когда жарня этакая!

– Ах, как же вы это, Михал Иванович, – сказал Михайлов сердито, – как же бросить, ежели он жив; да и убит, так все-таки тело надо было взять, – как хотите, ведь он ординарец генерала и еще жив, может.

– Где жив, когда я вам говорю, я сам подходил и видел, – сказал прапорщик. – Помилуйте! только бы своих уносить. Вон стерва! ядрами теперь стал пускать, – прибавил он, приседа. Михайлов тоже присел и схватился за голову, которая от движенья ужасно заболела у него.

– Нет, непременно надо сходить взять: может быть, он еще жив, – сказал Михайлов. – Это наш долг, Михайло Иваныч!

Михаило Иваныч не отвечал.

"Вот ежели бы он был хороший офицер, он бы взял тогда, а теперь надо солдат посылать одних; а и посылать как? Под этим страшным огнем могут убить задаром", – думал Михайлов.

– Ребята! Надо сходить назад – взять офицера, что ранен там, в канаве, – сказал он не слишком громко и повелительно, чувствуя, как неприятно будет солдатам исполнять это приказанье, – и действительно, так как он ни к кому именно не обращался, никто не вышел, чтобы исполнить его.

– Унтер-офицер! Поди сюда.

Унтер-офицер, как будто не слыша, продолжал идти на своем месте.

"И точно, может, он уже умер и *не стоит* подвергать людей напрасной опасности, а виноват один я, что не позаботился. Схожу сам, узнаю, жив ли он. Это мой долг", – сказал сам себе Михайлов.

– Михал Иваныч! Ведите роту, а я вас догоню, – сказал он и, одной рукой подобрав шинель, другой рукой дотрагиваясь беспрестанно до образка Митрофания-угодника, в которого он имел особенную веру, почти ползком и дрожа от страха, рысью побежал по траншее.

Убедившись в том, что товарищ его был убит, Михайлов, так же пыхтя, приседа и придерживая рукой сбившуюся повязку и голову, которая сильно начинала болеть у него, потащился назад. Батальон уже был под горой на место и почти вне выстрелов, когда Михайлов догнал его. Я говорю: *почти* вне выстрелов, потому что изредка залетали и сюда шальные бомбы (осколком одной в эту ночь убит один капитан, который сидел во время дела в матросской землянке).

"Однако надо будет завтра сходить на перевязочный пункт записаться, – подумал штабс-капитан, в то время как пришедший фельдшер перевязывал его, – это поможет к представленью".

Сотни свежих окровавленных тел людей, за 2 часа тому назад полных разнообразных, высоких и мелких надежд и желаний, с окоченелыми членами, лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, и на ровном полу часовни Мертвых в Севастополе; сотни людей – с проклятиями и молитвами на пересохших устах – ползали, ворочались и стонали, – одни между трупами на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на окровавленном полу перевязочного пункта; а все так же, как и в прежние дни, загорелась зарница над Сапун-горою, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман с шумящего темного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длинные тучки по светло-лазурному горизонту, и все так же, как и в прежние дни, обещая радость, любовь и счастье всему ожившему миру, выплыло могучее, прекрасное светило.

На другой день вечером опять егерская музыка играла на бульваре, и опять офицеры, юнкера, солдаты и молодые женщины празднично гуляли около павильона и по нижним аллеям из цветущих душистых белых акаций.

Калугин, князь Гальцин и какой-то полковник ходили под руки около павильона и говорили о вчерашнем деле. Главною путеводительною нитью разговора, как это всегда бывает в подобных случаях, было не самое дело, а то участие, которое принимал, и храбрость, которую выказал рассказывающий в деле. Лица и звук голосов их имели серьезное, почти печальное выражение, как будто потери вчерашнего дня сильно трогали и огорчали каждого, но, сказать по правде, так как никто из них не потерял очень близкого человека (да и бывают ли в военном быту очень близкие люди?), это выражение печали было выражение официальное, которое они только считали обязанностью выказывать. Напротив, Калугин и полковник были бы готовы каждый день видеть такое дело, с тем чтобы только каждый раз получать золотую саблю и генерал-майора, несмотря на то, что они были прекрасные люди. Я люблю, когда называют извергом какого-нибудь завоевателя, для своего честолюбия губящего миллионы. Да спросите по совести прапорщика Петрушова и подпоручика Антонова и т. д., всякий из них маленький Наполеон, маленький изверг и сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтоб получить лишнюю звездочку или треть жалованья.

– Нет, извините, – говорил полковник, – прежде началось на левом фланге. *Ведь я был там.*

– А может быть, – отвечал Калугин, – *я больше был на правом; я два раза туда ходил: один раз отыскивал генерала, а другой раз так, посмотреть ложементы пошел. Вот где жарко было.*

– Да уж, верно, Калугин знает, – сказал полковнику князь Гальцин, – ты знаешь, *мне нынче В...* про тебя говорил, что ты молодец.

– Потери только, потери ужасные, – сказал полковник тоном официальной печали: – *У меня в полку человек выбыло. Удивительно, как я жив вышел оттуда.*

В это время навстречу этим господам, на другом конце бульвара, показалась лиловатая фигура Михайлова на стоптанных сапогах и с повязанной головой. Он очень сконфузился, увидав их: ему вспомнилось, как он вчера приседал перед Калугиным, и пришло в голову, как бы они не подумали, что он притворяется раненым. Так что ежели бы эти господа не смотрели на него, то он бы сбежал вниз и ушел бы домой, с тем чтобы не выходить до тех пор, пока можно будет снять повязку.

– *Il fallait voir dans quel йtat je l'ai rencontrй hier sous le feu*[40], – улыбнувшись, сказал Калугин в то время, как они сходились.

– Что, вы ранены, капитан? – сказал Калугин с улыбкой, которая значила: "Что, вы видели меня вчера? каков я?"

– Да, немножко, камнем, – отвечал Михайлов, краснея и с выражением на лице, которое говорило: "Видел, и признаюсь, что вы молодец, а я очень, очень плох".

– Est-ce que le pavillon est baissé déjà?[41] – спросил князь Гальцин опять с своим высокомерным выражением, глядя на фуражку штабс-капитана и не обращаясь ни к кому в особенности.

– Non pas encore[42], – отвечал Михайлов, которому хотелось показать, что он знает и поговорить по-французски.

– Неужели продолжается еще перемирие? – сказал Гальцин, учтиво обращаясь к нему по-русски и тем говоря, – как это показалось штабс-капитану, – что вам, должно быть, тяжело будет говорить по-французски, так не лучше ли уж просто?... И с этим адъютанты отошли от него.

Штабс-капитан, так же как и вчера, почувствовал себя чрезвычайно одиноким и, поклонившись с разными господами – с одними не желая сходитьсь, а к другим не решаясь подойти, – сел около памятника Казарского и закурил папиросу.

Барон Пест тоже пришел на бульвар. Он рассказывал, что был на перемирии и говорил с французскими офицерами, что будто один французский офицер сказал ему: "S'il n'avait pas fait clair encore pendant une demi-heure, les embuscades auraient été reprises"[43], и как он отвечал ему: «Monsieur! je ne dis pas non, pour ne pas vous donner un dementi»[44], и как хорошо он сказал и т. д.

В сущности же, хотя и был на перемирии, он не успел сказать там ничего очень умного, хотя ему и ужасно хотелось поговорить с французами (ведь это ужасно весело говорить с французами). Юнкер барон Пест долго ходил по линии и все спрашивал французов, которые были близко к нему: "De quel régiment êtes-vous?"[45] Ему отвечали – и больше ничего. Когда же он зашел слишком далеко за линию, то французский часовой, не подозревая, что этот солдат знает по-французски, в третьем лице выругал его. «Il vient regarder nos travaux se sacrifier...»[46], – сказал он. Вследствие чего, не находя больше интереса на перемирии, юнкер барон Пест поехал домой и уже дорогой придумал те французские фразы, которые теперь рассказывал. На бульваре были и капитан Зобов, который громко разговаривал, и капитан Обжогов в растерзанном виде, и артиллерийский капитан, который ни в ком не заискивает, и счастливый в любви юнкер, и все те же вчерашние лица и вес с темп же вечными побуждениями лжи, тщеславия и легкомыслия. Недоставало только Праскухина, Нефердова и еще кой-кого, о которых здесь едва ли помнил и думал кто-нибудь теперь, когда тела их еще не успели быть обмыты, убраны и зарыты в землю, и о которых через месяц точно так же забудут отцы, матери, жены, дети, ежели они были или не забыли про них прежде.

– А я его не узнал было, старика-то, – говорит солдат на уборке тел, за плечи поднимая перебитый в груди труп с огромной раздувшейся головой, почернелым глянцеvitым лицом и вывернутыми зрачками, – под спину берись, Морозка, а то как бы не перервался. Ишь, дух скверный!

"Ишь, дух скверный!" – вот все, что осталось между людьми от этого человека

На нашем бастионе и на французской траншее выставлены белые флаги, и между ними в цветущей долине кучками лежат без сапог, в серых и в синих одеждах, изуродованные трупы, которые сносят рабочие и накладывают на повозки. Ужасный, тяжелый запах мертвого тела наполняет воздух. Из Севастополя и из французского лагеря толпы народа высыпали смотреть на это зрелище и с жадным и благосклонным любопытством стремятся одни к другим.

Послушайте, что говорят между собой эти люди. Вот в кружке собравшихся около него русских и французов молоденький офицер, хотя плохо, но достаточно хорошо, чтоб его понимали, говорящий по-французски, рассматривает гвардейскую сумку.

– Э сеси пуркуа се уазо иси? – говорит он.

– Parce que c'est une giberne d'un gйgement de la garde, monsieur, qui porte l'aigle impйrial.

– Э ву де па гард?

– Pardon, monsieur, du 6-ume de ligne.

– Э сеси у аште?

[47] – спрашивает офицер, указывая на деревянную желтую сигарочницу, в которой француз курит папиросу.

– A Balaclave, monsieur! C'est tout simple – en bois de palme[48].

– Жоли![49] – говорит офицер, руководимый в разговоре не столько собственным произволом, сколько словами, которые он знает.

– Si vous voulez bien garder cela comme souvenir de cette rencontre, vous m'obligerez[50]. –

И учтивый француз выдувает папироску и подает офицеру сигарочницу с маленьким поклоном. Офицер дает ему свою, и все присутствующие в группе, как французы, так и русские, кажутся очень довольными и улыбаются.

Вот пехотный бойкий солдат, в розовой рубашке и шинели внакидку, в сопровождении других солдат, которые, руки за спину, с веселыми, любопытными лицами, стоят за ним, подошел к французу и попросил у него огня закурить трубку. Француз разжигает, расковыривает трубку и высыпает огня русскому.

– Табак бун, – говорит солдат в розовой рубашке, и зрители улыбаются.

– Oui, bon tabac, tabac turc, – говорит француз, – et chez vous tabac russe? bon?[51] – Рус бун, – говорит солдат в розовой рубашке, причем присутствующие покатываются со смеху. – Франсе нет бун, бонжур, мусье, – говорит солдат в розовой рубашке, сразу уж выпуская весь свой заряд знаний языка, и треплет француз по животу и смеется. Французы тоже смеются.

– Il ne sont pas jolis ces b ktes de russes[53], – говорит один зуав из толпы французов.

– De quoi de ce qu'ils rient donc?[54] – говорит другой черный, с итальянским выговором, подходя к нашим.

– Кафтан бун, – говорит бойкий солдат, рассматривая шитые полы зуава, и опять смеются.

– Ne sortez pas de la ligne, a vos places, sacй nom.....[55] – кричит французский капрал, и солдаты с видимым неудовольствием расходятся.

А вот в кружке французских офицеров наш молодой кавалерийский офицер так и рассыпается французским парикмахерским жаргоном. Речь идет о каком-то comte Sazonoff, que j'ai beaucoup connu, monsieur[56], – говорит французский офицер с одним эполетом, – c'est un de ces vrais comtes russes, comme nous les aimons[57].

– Il y a un Sazonoff que j'ai connu, – говорит кавалерист, – mais il n'est pas comte, a moins que je sache, un petit brun de votre vge a peu prus.

– C'est за, monsieur, c'est lui. Oh, que je voudrais le voir ce cher comte. Si vous le voyez, je vous pris bien de lui faire mes compliments. Capitaine Latour[58], – говорит он, кланяясь.

– N'est ce pas terrible la triste besogne, que nous faisons? За chauffait cette nuit, n'est-ce pas?[59] – говорит кавалерист, желая поддержать разговор и указывая на трупы.

– Oh, monsieur, c'est affreux! Mais quels gaillards vos soldats, quels gaillards! C'est un plaisir que de se battre contre des gaillards comme eux.

– Il faut avouer que les votres ne se mouchent pas du pied non plus[60], – говорит кавалерист, кланяясь и воображая, что он очень мил. Но довольно.

Посмотрите лучше на этого десятилетнего мальчишку, который в старом, должно быть, отцовском, картузе, в башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддерживаемых одною помочью, с самого начала перемирия вышел за вал и все ходил по ложине, с тупым любопытством глядя на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми усыпана эта роковая долина. Возвращаясь домой с большим

букетом, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него ветром, остановился около кучки снесенных тел и долго смотрел на один страшный, безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул ее еще раз и крепче. Рука покачнулась и опять стала на свое место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь к крепости.

Да, на бастионе и на траншее выставлены белые флаги, цветущая долина наполнена смрадными телами, прекрасное солнце спускается к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди – христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, с раскаянием не упадут вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе с страхом смерти, любовь к добру и прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, как братья? Нет! Белые тряпки спрятаны – и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятия.

Вот я и сказал, что хотел сказать на этот раз. Но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его.

Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны.

Ни Калугин с своей блестящей храбростью (*bravoure de gentilhomme*) и тщеславием, двигателем всех поступков, ни Праскухин, пустой, безвредный человек, хотя и павший *на брани за веру, престол и отечество*, ни Михайлов с своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест – ребенок без твердых убеждений и правил, не могут быть ни злодеями, ни героями повести.

Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда.

*1855 года, 26 июня .*

## СЕВАСТОПОЛЬ В АВГУСТЕ 1855 ГОДА

### 1

В конце августа по большой ущелистой севастопольской дороге, между Дуванкой[61] и Бахчисараем, шагом, в густой и жаркой пыли, ехала офицерская тележка (та особенная, больше нигде не встречаемая тележка, составляющая нечто среднее между жидовской бричкой, русской повозкой и корзинкой).

В повозке – спереди, на корточках, сидел денщик в нанковом сюртуке и сделавшейся совершенно мягкой бывшей офицерской фуражке, подергивавший вожжами; сзади, на узлах и вьюках, покрытых попонкой, сидел пехотный офицер в летней шинели. Офицер был, сколько можно было заключить о нем в сидячем положении, невысок ростом, но чрезвычайно широк, и не столько от плеча до плеча, сколько от груди до спины; он был широк и плотен, шея и затылок были у него очень развиты и напряжены, так называемой талии – перехвата в середине туловища – у него не было, но и живота тоже не было, напротив – он был скорее худ, особенно в лице, покрытом нездоровым желтоватым загаром. Лицо его было бы красиво, ежели бы не какая-то одутловатость и мягкие, нестарческие,

крупные морщины, сливавшие и увеличивавшие черты и дававшие всему лицу общее выражение несвежести и грубости. Глаза у него были небольшие, карие, чрезвычайно бойкие, даже наглые; усы очень густые, но не широкие, и обкусанные; а подбородок и особенно скулы покрыты были чрезвычайно крепкой, частой и черной двухдневной бородой. Офицер был ранен 10 мая осколком в голову, на которой еще до сих пор он носил повязку, и теперь, чувствуя себя уже с неделю совершенно здоровым, из симферопольского госпиталя ехал к полку, который стоял где-то там, откуда слышались выстрелы, – но в самом ли Севастополе, на Северной или на Инкермане, он еще ни от кого не мог узнать хорошенько. Выстрелы уже слышались, особенно иногда, когда не мешали горы или доносил ветер, чрезвычайно ясно, часто и, казалось, близко: то как будто взрыв потрясал воздух и невольно заставлял вздрагивать, то быстро друг за другом следовали менее сильные звуки, как барабанная дробь, перебиваемая иногда поразительным гулом, то все сливалось в какой-то перекатывающийся треск, похожий на громовые удары, когда гроза во всем разгаре и только что полил ливень. Все говорили, да и слышно было, что бомбардированье идет ужасное. Офицер погонял денщика: ему, казалось, хотелось как можно скорей приехать. Навстречу шел большой обоз русских мужиков, привозивших провиант в Севастополь, и теперь шедший оттуда, наполненный больными и ранеными солдатами в серых шинелях, матросами в черных пальто, греческими волонтерами в красных фесках и ополченцами с бородами. Офицерская повозочка должна была остановиться, и офицер, щурясь и морщась от пыли, густым, неподвижным облаком поднявшейся на дороге, набивавшейся ему в глаза и уши и липнувшей на потное лицо, с озлобленным равнодушием смотрел на лица больных и раненых, двигавшихся мимо него.

– А это с нашей роты солдатик слабый, – сказал денщик, оборачиваясь к барину и указывая на повозку, наполненную ранеными, в это время поравнявшуюся с ними.

На повозке спереди сидел боком русский бородач в поярковой шляпе и, локтем придерживая кнутовище, связывал кнут. За ним в телеге тряслись человек пять солдат в различных положениях. Один, с подвязанной какой-то веревочкой рукой, с шинелью внакидку на весьма грязной рубахе, хотя худой и бледный, сидел бодро в середине телеги и взялся было за шапку, увидав офицера, но потом, вспомнив, верно, что он раненый, сделал вид, что он только хотел почесать голову. Другой, рядом с ним, лежал на самом дне повозки; видны были только две исхудалые руки, которыми он держался за грядки повозки, и поднятые колени, как мочалы мотавшиеся в разные стороны. Третий, с опухшим лицом и обвязанной головой, на которой сверху торчала солдатская шапка, сидел сбоку, спустив ноги к колесу, и, облокотившись руками на колени, дремал, казалось. К нему-то и обратился проезжий офицер.

– Должников! – крикнул он.

– Я-о, – отвечал солдат, открывая глаза и снимая фуражку, таким густым и отрывистым басом, как будто человек двадцать солдат крикнули вместе.

– Когда ты ранен, братец?

Оловянные, заплывшие глаза солдата оживились: он, видимо, узнал своего офицера.

– Здравия желаем, вашбродие! – тем же отрывистым басом крикнул он.

– Где нынче полк стоит?

– В Севастополе стояли; в середу переходить хотели, вашбродие!

– Куда?

– Неизвестно... должно, на Сиверную, вашбродие! Нынче, вашбродие, – прибавил он протяжным голосом и надевая шапку, – уже скрость палить стал, все больше с бомбов, ажно в бухту доносит; нынче так бьет, что бяда ажно...

Дальше нельзя было слышать, что говорил солдат; но по выражению его лица и позы видно было, что он, с некоторой злобой страдающего человека, говорил вещи неутешительные.

Проезжий офицер, поручик Козельцов, был офицер недюжинный. Он был не из тех, которые живут так-то и делают то-то, а не делают того-то потому, что так живут и делают



другие: он делал все, что ему хотелось, а другие уже делали то же самое и были уверены, что это хорошо. Его натура была довольно богата; он был неглуп и вместе с тем талантлив, хорошо пел, играл на гитаре, говорил очень бойко и писал весьма легко, особенно казенные бумаги, на которые набил руку в свою бытность полковым адъютантом; но более всего замечательна была его натура самолюбивой энергией, которая, хотя и была более всего основана на этой мелкой даровитости, была сама по себе черта резкая и поразительная. У него было одно из тех самолюбий, которое до такой степени слилось с жизнью и которое чаще всего развивается в одних мужских, и особенно военных, кружках, что он не понимал другого выбора, как первенствовать или уничтожаться, и что самолюбие было двигателем даже его внутренних побуждений: он сам с собой любил первенствовать над людьми, с которыми себя сравнивал. – Как же! очень буду слушать, что Москва[62] болтает! – пробормотал поручик, ощущая какую-то тяжесть апатии на сердце и туманность мыслей, оставленных в нем видом транспорта раненых и словами солдата, значение которых невольно усиливалось и подтверждалось звуками бомбардирования. – *Смешная эта Москва* ... Пошел, Николаев, трогай же... Что ты заснул! – прибавил он несколько ворчливо на денщика, поправляя полы шинели.

Вожжи задержались, Николаев зачмокал, и повозочка покатила рысью.

– Только покормим минутку и сейчас, нынче же, дальше, – сказал офицер.

## 2

Уже въезжая в улицу разваленных остатков каменных стен татарских домов Дуванкой, поручик Козельцов снова был задержан транспортом бомб и ядер, шедшим в Севастополь и столпившимся на дороге.

Два пехотных солдата сидели в самой пыли на камнях разваленного забора, около дороги, и ели арбуз с хлебом.

– Далеке идете, землячок? – сказал один из них, пережевывая хлеб, солдату, который с небольшим мешком за плечами остановился около них.

– В роту идем из губернии, – отвечал солдат, глядя в сторону от арбуза и поправляя мешок за спиной. – Мы вот почитай что третью неделю при сене ротном находились, а теперь, вишь, потребовали всех; да неизвестно, в каком месте полк находится в теперешнее время. Сказывали, что на Корабельную заступили наши в прошлой неделе. Вы не слыхали, господа?

– В городе, брат, стоит, в городе, – проговорил другой, старый фурштатский солдат, копавший с наслаждением складным ножом в неспелом, белёсом арбузе. – Мы вот только с полдён оттеле идем. Такая страсть, братец ты мой, что и не ходи лучше, а здесь упади где-нибудь, в сене, денек-другой пролежи – дело-то лучше будет.

– А что так, господа?

– Рази не слышишь, нынче кругом палит, аж и места целого нет. Что нашего брата перебил, и сказать нельзя! – И говоривший махнул рукой и поправил шапку.

Прохожий солдат задумчиво покачал головой, почмокал языком, потом достал из голенища трубочку, не накладывая ее, расковырял прижатый табак, зажег кусочек трута у курившего солдата и приподнял шапочку.

– Никто, как Бог, господа! Прощенья просим! – сказал он и, встряхнув за спиной мешок, пошел по дороге.

– Эх, обождал бы лучше! – сказал убедительно-протяжно ковырявший арбуз.

– Все одно, – пробормотал прохожий, пролезая между колес столпившихся повозок, – видно, тоже харбуза купить повечерять; вишь, что говорят люди.

## 3

Станция была полна народом, когда Козельцов подъехал к ней. Первое лицо, встретившееся ему еще на крыльце, был худощавый, очень молодой человек, смотритель, который перебранивался с следовавшими за ним двумя офицерами.

– И не то что трое суток, и десятеро суток подождете! и генералы ждут, батюшка! – говорил смотритель с желанием кольнуть проезжающих, – а я вам не запрягусь же.

– Так никому не давать лошадей, коли нету!... А зачем дал какому-то лакею с вещами? – кричал старший из двух офицеров, с стаканом чаю в руках и, видимо, избегая местоимения, но давая чувствовать, что очень легко и *ты* сказать смотрителю.

– Ведь вы сами рассудите, господин смотритель, – говорил с запинками другой, молоденький офицерик, – нам не для своего удовольствия нужно ехать. Ведь мы тоже, стало быть, нужны, коли нас требовали. А то я, право, генералу Крамперу непременно это скажу. А то ведь это что ж... вы, значит, не уважаете офицерского звания.

– Вы всегда испортите! – перебил его с досадой старший. – Вы только мешаете мне; надо уметь с ними говорить. Вот он и потерял уваженье. Лошадей сию минуту, я говорю!

– И рад бы, батюшка, да где их взять-то?

Смотритель помолчал немного и вдруг разгорячился и, размахивая руками, начал говорить:

– Я, батюшка, сам понимаю и все знаю; да что станете делать! Вот дайте мне только (на лицах офицеров выразилась надежда)... дайте только до конца месяца дожить – и меня здесь не будет. Лучше на Малахов курган пойду, чем здесь оставаться. Ей-богу! Пусть делают как хотят, когда такие распоряжения: на всей станции теперь ни одной повозки крепкой нет, и клочка сена уж третий день лошади не видали.

И смотритель скрылся в воротах.

Козельцов вместе с офицерами вошел в комнату.

– Что ж, – совершенно спокойно сказал старший офицер младшему, хотя за секунду перед этим он казался разъяренным, – уж три месяца едем, подождем еще. Не беда – успеем.

Дымная, грязная комната была так полна офицерами и чемоданами, что Козельцов едва нашел место на окне, где и присел; вглядываясь в лица и вслушиваясь в разговоры, он начал делать папироску. Направо от двери, около кривого сального стола, на котором стояло два самовара с позеленелой кое-где медью и разложен был сахар в разных бумагах, сидела главная группа: молодой безусый офицер в новом стеганом архалуке, навверное, сделанном из женского капота, доливал чайник; человека 4 таких же молоденьких офицеров находились в разных углах комнаты: один из них, подложив под голову какую-то шубу, спал на диване; другой, стоя у стола, резал жареную баранину безрукому офицеру, сидевшему у стола. Два офицера, один в адъютантской шинели, другой в пехотной, по тонкой, и с сумкой через плечо, сидели около лежанки; и по одному тому, как они смотрели на других и как тот, который был с сумкой, курил сигару, видно было, что они не фронтовые пехотные офицеры и что они довольны этим. Не то чтобы видно было презрение в их манере, но какое-то самодовольное спокойствие, основанное частью на деньгах, частью на близких сношениях с генералами, – сознание превосходства, доходящее даже до желания скрыть его. Еще молодой губастый доктор и артиллерист с немецкой физиономией сидели почти на ногах молодого офицера, спящего на диване, и считали деньги. Человека 4 денщиков – одни дремали, другие возились с чемоданами и узлами около двери. Козельцов между всеми лицами не нашел ни одного знакомого; но он с любопытством стал вслушиваться в разговоры. Молодые офицеры, которые, как он тотчас же по одному виду решил, только что ехали из корпуса, понравились ему, и главное, напомнили, что брат его, тоже из корпуса, на днях должен был прибыть в одну из батарей Севастополя. В офицере же с сумкой, которого лицо он видел где-то, ему все казалось противно и нагло. Он даже с мыслью: "Осадить его, ежели бы он вздумал что-нибудь сказать", – перешел от окна к лежанке и сел на нее. Козельцов вообще, как истый фронтовой и хороший офицер, не только не любил, но был возмущен против штабных, которыми он с первого взгляда признал этих двух офицеров.

– Однако это ужасно как досадно, – говорил один из молодых офицеров, – что так уже близко, а нельзя доехать. Может быть, нынче дело будет, а нас не будет.

В пискливом тоне голоса и в пятновидном свежем румянце, набежавшем на молодое лицо этого офицера в то время, как он говорил, видна была эта милая молодая робость человека, который беспрестанно боится, что не так выходит его каждое слово.

Безрукий офицер с улыбкой посмотрел на него.

– Поспееете еще, поверьте, – сказал он.

Молодой офицерик с уважением посмотрел на исхудалое лицо безрукого, неожиданно просветлевшее улыбкой, замолчал и снова занялся чаем. Действительно, в лице безрукого офицера, в его позе и особенно в этом пустом рукаве шинели выразалось много этого спокойного равнодушия, которое можно объяснить так, что при всяком деле или разговоре он смотрел, как будто говоря: "Все это прекрасно, все это я знаю и все могу сделать, ежели бы я захотел только".

– Как же мы решим, – сказал снова молодой офицер своему товарищу в архалуке, – ночуем здесь или поедем на своей лошади?

Товарищ отказался ехать.

– Вы можете себе представить, капитан, – продолжал разливавший чай, обращаясь к безрукому и поднимая ножик, который уронил этот, – нам сказали, что лошади ужасно дороги в Севастополе, мы и купили сообща лошадь в Симферополе.

– Дорого, я думаю, с вас содрали?

– Право, не знаю, капитан: мы заплатили с повозкой девяносто рублей. Это очень дорого? – прибавил он, обращаясь ко всем и к Козельцову, который смотрел на него.

– Недорого, коли молодая лошадь, – сказал Козельцов.

– Не правда ли? А нам говорили, что дорого... Только она хромяя немножко, только это пройдет, нам говорили. Она крепкая такая.

– Вы из какого корпуса? – спросил Козельцов, который хотел узнать о брате.

– Мы теперь из Дворянского полка, нас шесть человек; мы все едем в Севастополь по собственному желанию, – говорил словоохотливый офицерик, – только мы не знаем, где наши батареи: одни говорят, что в Севастополе, а вот они говорили, что в Одессе.

– А в Симферополе разве нельзя было узнать? – спросил Козельцов.

– Не знают... Можете себе представить, наш товарищ ходил там в канцелярию: ему грубостей наговорили... можете себе представить, как неприятно!... Угодно вам готовую папироску? – сказал он в это время безрукому офицеру, который хотел достать свою сигарочницу.

Он с каким-то подобострастным восторгом услуживал ему.

– А вы тоже из Севастополя? – продолжал он. – Ах, Боже мой, как это удивительно! Ведь как мы все в Петербурге думали об вас, обо всех героях! – сказал он, обращаясь к Козельцову, с уважением и добродушной лаской.

– Как же, вам, может, назад придется ехать? – спросил поручик.

– Вот этого-то мы и боимся. Можете себе представить, что мы, как купили лошадь и обзавелись всем нужным – кофейник спиртовой и еще разные мелочи необходимые, – у нас денег совсем не осталось, – сказал он тихим голосом и оглядываясь на своего товарища, – так что ежели ехать назад, мы уж и не знаем, как быть.

– Разве вы не получили подъемных денег? – спросил Козельцов.

– Нет, – отвечал он шепотом, – только нам обещали тут дать.

– А свидетельство у вас есть?

– Я знаю, что главное – свидетельство; по мне в Москве сенатор один – он мне дядя, – как я у него был, он сказал, что тут дадут, а то бы он сам мне дал. Так дадут так?

– Непременно дадут.

– И я думаю, что, может быть, так дадут, – сказал он таким тоном, который доказывал, что, спрашивая на тридцати станциях одно и то же и везде получая различные ответы, он уже никому не верил хорошенько.

## 5

– Да как же не дать, – сказал вдруг офицер, бранившийся на крыльце с смотрителем и в это время подошедший к разговаривающим и обращаясь отчасти и к штабным, сидевшим подле, как к более достойным слушателям. – Ведь я так же, как и эти господа, пожелал в действующую армию, даже в самый Севастополь просился от прекрасного места, и мне, кроме прогонов от П., 136 руб. сер., ничего не дали, а я уж своих больше 150 рублей издержал. Подумать только, 800 верст 3-й месяц еду. Вот с этими господами 2-й месяц. Хорошо, что у меня были свои деньги. Ну, а коли бы не было их?

– Неужели 3-й месяц? – спросил кто-то.

– А что прикажете делать, – продолжал рассказывающий. – Ведь ежели бы я не хотел ехать, я бы и не просился от хорошего места; так, стало быть, я не стал бы жить по дороге, уж не оттого, чтоб я боялся бы... а возможности никакой нет. В Перекопе, например, я 2 недели жил; смотритель с вами и говорить не хочет, – когда хотите поезжайте; одних курьерских подорожных вот сколько лежит. Уж, верно, так судьба... ведь я бы желал, да, видно, судьба; я ведь не оттого, что вот теперь бомбардированье, а, видно, торопись не торопись – все равно; а я бы как желал...

Этот офицер так старательно объяснял причины своего замедления и как будто оправдывался в них, что это невольно наводило на мысль, что он трусит. Это еще стало заметнее, когда он расспрашивал о месте нахождения своего полка и опасно ли там. Он даже побледнел, и голос его оборвался, когда безрукий офицер, который был в том же полку, сказал ему, что в эти два дня у них одних офицеров 17 человек выбыло.

Действительно, офицер этот в настоящую минуту был жесточайшим трусом, хотя 6 месяцев тому назад он далеко не был им. С ним произошел переворот, который испытали многие и прежде и после него. Он жил в одной из наших губерний, в которых есть кадетские корпуса, и имел прекрасное покойное место, но, читая в газетах и частных письмах о делах севастопольских героев, своих прежних товарищей, он вдруг возгорелся честолюбием и еще более – патриотизмом.

Он пожертвовал этому чувству весьма многим – и обжитым местом, и квартирой с мягкой мебелью, заведенной осьмилетним старанием, и знакомствами, и надеждами на богатую женитьбу, – он бросил все и подал еще в феврале в действующую армию, мечтая о бессмертном венке славы и генеральских эполетах. Через 2 месяца после подачи прошения он по команде получил запрос, но будет ли он требовать вспомоществования от правительства. Он отвечал отрицательно и терпеливо продолжал ожидать определения, хотя патриотический жар уже успел значительно остыть в эти 2 месяца. Еще через 2 месяца он получил запрос, не принадлежит ли он к масонским ложам, и еще подобного рода формальности, и после отрицательного ответа наконец на 5-й месяц вышло его определение. Во все это время приятели, а более всего то заднее чувство недовольства новым, которое является при каждой перемене положения, успели убедить его в том, что он сделал величайшую глупость, поступив в действующую армию. Когда же он очутился один с изжогой и запыленным лицом, на 5-й станции, на которой он встретился с курьером из Севастополя, рассказавшим ему про ужасы войны, прождал 12 часов лошадей, – он уже совершенно раскисал в своем легкомыслии, с смутным ужасом думал о предстоящем и ехал бессознательно вперед, как на жертву. Чувство это в продолжение 3-месячного странствования по станциям, на которых почти везде надо было ждать и встречать едущих из Севастополя офицеров с ужасными рассказами, постоянно увеличивалось и наконец довело

до того бедного офицера, что из героя, готового на самые отчаянные предприятия, каким он воображал себя в П., в Дуванкуй он был жалким трусом; и, съехавшись месяц тому назад с молодежью, едущей из корпуса, он старался ехать как можно тише, считая эти дни последними в своей жизни, на каждой станции разбирал кровать, погребец, составлял партию в преферанс, на жалобную книгу смотрел, как на препровождение времени, и радовался, когда лошадей ему не давали.

Он действительно бы был героем, ежели бы из П. попал прямо на бастионы, а теперь еще много ему надо было пройти моральных страданий, чтобы сделаться тем спокойным, терпеливым человеком в труде и опасности, каким мы привыкли видеть русского офицера. Но энтузиазм уже трудно бы было воскресить в нем.

## 6

– Кто борщу требовал? – провозгласила довольно грязная хозяйка, толстая женщина лет 40, с миской щей входя в комнату.

Разговор тотчас же замолк, и все бывшие в комнате устремили глаза на харчевницу. Офицер, ехавший из П., даже подмигнул на нее молодому офицеру.

– Ах, это Козельцов спрашивал, – сказал молодой офицер, – надо его разбудить. Вставай обедать, – сказал он, подходя к спящему на диване и толкая его за плечо.

Молодой мальчик, лет 17, с веселыми черными глазками и румянцем во всю щеку, вскочил энергически с дивана и, протирая глаза, остановился посередине комнаты.

– Ах, извините, пожалуйста, – сказал он серебристым звучным голосом доктору, которого толкнул, вставая.

Поручик Козельцов тотчас же узнал брата и подошел к нему.

– Не узнаешь? – сказал он, улыбаясь.

– А-а-а! – закричал меньшей брат. – Вот удивительно! – и стал целовать брата.

Они поцеловались 3 раза, но на третьем разе запнулись, как будто обоим пришла мысль: зачем же непременно нужно три раза?

– Ну, как я рад! – сказал старший, взглядываясь в брата. – Пойдем на крыльцо – поговорим.

– Пойдем, пойдем. Я не хочу борщу... ешь ты, Федерсон, – сказал он товарищу.

– Да ведь ты хотел есть.

– Не хочу ничего.

Когда они вышли на крыльцо, меньшей все спрашивал у брата: "Ну, что ты, как, расскажи", – и все говорил, как он рад его видеть, но сам ничего не рассказывал.

Когда прошло минут 5, во время которых они успели помолчать немного, старший брат спросил, отчего меньшей вышел не в гвардию, как этого все *наши* ожидали.

– Ах, да! – отвечал меньшей, краснея при одном воспоминании. – Это ужасно меня убило, и я никак не ожидал, что это случится. Можешь себе представить, перед самым выпуском мы пошли втроем курить, – знаешь эту комнатку, что за швейцарской, ведь и при вас, верно, так же было, – только, можешь вообразить, этот каналья сторож увидал и побежал сказать дежурному офицеру (и ведь мы несколько раз давали на водку сторожу), он и подкрался; только как мы его увидели, те побросали папироски и драло в боковую дверь – а мне уж некуда, он тут мне стал неприятности говорить, разумеется, я не спустил, ну, он сказал инспектору, и пошло. Вот за это-то поставили неполные баллы в поведении, хотя везде были отличные, только из механики двенадцать, ну и пошло. Выпустили в армию. Потом обещали меня перевести в гвардию, да уж я не хотел и просился на войну.

– Вот как!

– Право, я тебе без шуток говорю, все мне так гадко стало, что я желал поскорей в Севастополь. Да, впрочем, ведь ежели здесь счастливо пойдет, так можно еще скорее выиграть, чем в гвардии: там в 10 лет в полковники, а здесь Тотлебен так в 2 года из

подполковников в генералы. Ну, а убьют, – так что ж делать!

– Вот ты какой! – сказал брат, улыбаясь.

– А главное, знаешь ли что, брат, – сказал меньшей, улыбаясь и краснея, как будто собирался сказать что-нибудь очень стыдное, – все это пустяки; главное, я затем просился, что все-таки как-то совестно жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество. Да и с тобой мне хотелось быть, – прибавил он еще застенчивее.

– Какой ты смешной! – сказал старший брат, доставая папиросницу и не глядя на него. – Жалко только, что мы не вместе будем.

– А что, скажи по правде, страшно на бастионах? – спросил вдруг младший.

– Сначала страшно, потом привыкаешь – ничего. Сам увидишь.

– А вот еще что скажи: как ты думаешь, возьмут Севастополь? Я думаю, что ни за что не возьмут.

– Бог знает.

– Одно только досадно, – можешь вообразить, какое несчастье: у нас ведь дорогой целый узел украли, а у меня в нем кивер[63] был, так что я теперь в ужасном положении и не знаю, как я буду являться. Ты знаешь, ведь у нас новые кивера теперь, да и вообще сколько перемен; все к лучшему. Я тебе все это могу рассказать... Я везде бывал в Москве.

Козельцов второй, Владимир, был очень похож на брата Михайлу, но похож так, как похож распускающийся розан на отцветший шиповник. Волоса у него были те же русые, но густые и выющиеся на висках; на белом нежном затылке у него была русая косичка – признак счастья, как говорят нянюшки. По нежному белому цвету кожи лица не стоял, а вспыхивал, выдавая все движения души, полнокровный молодой румянец. Те же глаза, как и у брата, были у него открытое и светлее, что особенно казалось оттого, что они часто покрывались легкой влагой. Русый пушок пробивал по щекам и над красными губами, весьма часто складывавшимися в застенчивую улыбку и открывавшими белые блестящие зубы. Стройный, широкоплечий, в расстегнутой шинели, из-под которой виднелась красная рубашка с косым воротом, с папироской в руках, облокотившись на перила крыльца, с наивной радостью в лице и жесте, как он стоял перед братом, – это был такой приятно-хорошенький мальчик, что все бы так и смотрели на него. Он чрезвычайно рад был брату, с уважением и гордостью смотрел на него, воображая его героем; но в некоторых отношениях, именно в рассуждении вообще светского образования, которого, по правде сказать, он и сам не имел, умения говорить по-французски, быть в обществе важных людей, танцевать и т. д., – он немножко стыдился за него, смотрел свысока и даже хотел образовать его. Все впечатления его еще были из Петербурга, из дома одной барыни, любившей хороших и бравшей его к себе на праздники, и из дома сенатора в Москве, где он раз танцевал на большом бале.

## 7

Наговорившись почти досыта и дойдя наконец до того чувства, которое часто испытываешь, что общего мало, хотя и любишь друг друга, – братья помолчали довольно долго.

– Так бери же свои вещи и едем сейчас, – сказал старший.

Младший вдруг покраснел и замялся.

– Прямо в Севастополь ехать? – спросил он после минуты молчанья.

– Ну да, ведь у тебя немного вещей; я думаю, уложим.

– Прекрасно! сейчас и поедem, – сказал младший со вздохом и пошел в комнату.

Но, не отворяя двери, он остановился в сенях, печально опустив голову, и начал думать:

"Сейчас прямо в Севастополь, в этот ад – ужасно! Однако все равно, когда-нибудь надо же было. Теперь, по крайней мере, с братом..."

Дело в том, что только теперь, при мысли, что, севши в тележку, он, не вылезая из нее, будет в Севастополе и что никакая случайность уже не может задержать его, ему ясно представилась опасность, которой он искал, – и он смутился, испугался одной мысли о близости ее. Кое-как успокоив себя, он вошел в комнату; но прошло 1/4 часа, а он все не выходил к брату, так что старший отворил наконец дверь, чтоб вызвать его. Меньшой Козельцов, в положении провинившегося школьника, говорил о чем-то с офицером из П. Когда брат отворил дверь, он совершенно растерялся.

– Сейчас, сейчас я выйду – заговорил он, махая рукой брату. – Подожди меня, пожалуйста, там.

Через минуту он вышел действительно и с глубоким вздохом подошел к брату.

– Можешь себе представить, я не могу с тобой ехать, брат, – сказал он.

– Как? Что за вздор!

– Я тебе всю правду скажу, Миша! У нас уж ни у кого денег нет, и мы все должны этому штабс-капитану, который из П. едет. Ужасно стыдно!

Старший брат нахмурился и долго не прерывал молчанья.

– Много ты должен? – спросил он, исподлобья взглядывая на брата.

– Много... нет, не очень много; но совестно ужасно: он на трех станциях за меня платил, и сахар все его шел... так что я не знаю... да и в преферанс мы играли... я ему немножко остался должен.

– Это скверно, Володя! Ну что бы ты сделал, ежели бы меня не встретил? – сказал строго, не глядя на брата, старший.

– Да я думал, братец, что получу эти подъемные в Севастополе, так отдам. Ведь можно так сделать; да и лучше уж завтра я с ним приеду.

Старший брат достал кошелек и с некоторым дрожанием пальцев достал оттуда две 10-рублевые и одну 3-рублевую бумажку.

– Вот мои деньги, – сказал он. – Сколько ты должен?

Сказав, что это были все его деньги, Козельцов говорил не совсем правду: у него было еще 4 золотых, зашитых на всякий случай в обшлагае, но которые он дал себе слово ни за что не трогать.

Оказалось, что Козельцов 2-й, с преферансом и сахаром, был должен только 8 рублей офицеру из П. Старший брат дал их ему, заметив только, что этак нельзя, когда денег нет, еще в преферанс играть.

– На что ж ты играл?

Младший брат не отвечал ни слова. Вопрос брата показался ему сомнением в его честности. Досада на самого себя, стыд в поступке, который мог подавать такие подозрения, и оскорбление от брата, которого он так любил, произвели в его впечатлительной натуре такое сильное, болезненное чувство, что он ничего не отвечал, чувствуя, что не в состоянии будет удержаться от слезливых звуков, которые подступали ему к горлу. Он взял не глядя деньги и пошел к товарищам.

## 8

Николаев, подкрепивший себя в Дуванкой 2-мя крышками водки, купленными у солдата, продававшего ее на мосту, подергивал вожжами, повозочка подпрыгивала по каменной, кое-где тенистой дороге, ведущей вдоль Бельбека к Севастополю, а братья, поталкиваясь нога об ногу, хотя всякую минуту думали друг о друге, упорно молчали.

"Зачем он меня оскорбил, – думал меньшой, – разве он не мог не говорить про это? Точно как будто он думал, что я вор; да и теперь, кажется, сердится, так что мы уже навсегда расстроились. А как бы славно нам было вдвоем в Севастополе! Два брата, дружные между собой, оба сражаются со врагом: один старый уже, хотя не очень образованный, но храбрый воин, и другой – молодой, но тоже молодец... Через неделю я бы всем доказал, что я уж не

очень молоденький! Я и краснеть перестану, в лице будет мужество, да и усы – небольшие, но порядочные вырастут к тому времени, – и он ущипнул, себя за пушок, показавшийся у краев рта. – Может быть, мы нынче приедем и сейчас же попадем в дело вместе с братом. А он должен быть упорный и очень храбрый – такой, что много не говорит, а делает лучше других. Я б желал знать, – продолжал он, – нарочно или нет он прижимает меня к самому краю повозки? Он, верно, чувствует, что мне неловко, и делает вид, что будто не замечает меня. Вот мы нынче приедем, – продолжал он рассуждать, прижимаясь к краю повозки и боясь пошевелиться, чтобы не дать заметить брату, что ему неловко, – и вдруг прямо на бастион: я с орудиями, а брат с ротой, – и вместе пойдем. Только вдруг французы бросятся на нас. Я – стрелять, стрелять: перебью ужасно много; но они все-таки бегут прямо на меня. Уж стрелять нельзя, и – конечно, мне нет спасенья; только вдруг брат выбежит вперед с саблей, и я схвачу ружье, и мы вместе с солдатами побежим. Французы бросятся на брата. Я подбегу, убью одного француза, другого и спасаю брата. Меня ранят в одну руку, я схвачу ружье в другую и все-таки бегу; только брата убьют пулей подле меня. Я остановлюсь на минутку, посмотрю на него этак грустно, поднимусь и закричу: "За мной, отмстим! Я любил брата больше всего на свете, – я скажу, – и потерял его. Отметим, уничтожим врагов или все умрем тут!" Все закричат, бросятся за мной. Туг все войско французское выйдет, – сам Пелиссье. Мы всех перебьем; но, наконец, меня ранят другой раз, третий раз, и я упаду при смерти. Тогда все прибегут ко мне. Горчаков придет и будет спрашивать, чего я хочу. Я скажу, что ничего не хочу, – только чтобы меня положили рядом с братом, что я хочу умереть с ним. Меня принесут и положат подле окровавленного трупа брата. Я приподнимусь и скажу только: "Да, вы не умели ценить 2-х человек, которые истинно любили отечество; теперь они оба пали... да простит вам Бог!" – и умру".

Кто знает, в какой мере сбудутся эти мечты!

– Что, ты был когда-нибудь в схватке? – спросил он вдруг у брата, совершенно забыв, что не хотел говорить с ним.

– Нет, ни разу, – отвечал старший, – у нас 2000 человек из полка выбыло, всё на работах; и я ранен тоже на работе. Война совсем не так делается, как ты думаешь, Володя!

Слово «Володя» тронуло меньшого брата; ему захотелось объясниться с братом, который вовсе и не думал, что оскорбил Володю.

– Ты на меня не сердись, Миша? – сказал он после минутного молчания.

– За что?

– Нет – так. За то, что у нас было. Так, ничего.

– Нисколько, – отвечал старший, поворачиваясь к нему и похлопывая его по ноге.

– Так ты меня извини, Миша, ежели я тебя огорчил.

И меньшой брат отвернулся, чтобы скрыть слезы, которые вдруг выступили у него из глаз.

## 9

– Неужели это уж Севастополь? – спросил меньшой брат, когда они поднялись на гору и перед ними открылись бухта с мачтами кораблей, море с неприятельским далеким флотом, белые приморские батареи, казармы, водопроводы, доки и строения города, и белые, лиловатые облака дыма, беспрестанно поднимавшиеся по желтым горам, окружающим город, и стоявшие в синем небе, при розоватых лучах солнца, уже с блеском отражавшегося и спускавшегося к горизонту темного моря.

Володя без малейшего содрогания увидел это страшное место, про которое он так много думал; напротив, он с эстетическим наслаждением и героическим чувством самодовольства, что вот и он через полчаса будет там, смотрел на это действительно прелестно-оригинальное зрелище, и смотрел с сосредоточенным вниманием до самого того времени, пока они не приехали на Северную, в обоз полка брата, где должны были узнать



наверное о месте расположения полка и батареи.

Офицер, заведовавший обозом, жил около так называемого *нового городка* – дощатых барачков, построенных матросскими семействами, в палатке, соединенной с довольно большим балаганом, заплетенным из зеленых дубовых веток, не успевших еще совершенно засохнуть.

Братья застали офицера перед складным столом, на котором стоял стакан холодного чаю с папиросной золой и поднос с водкой и крошками сухой икры и хлеба, в одной желтовато-грязной рубашке, считающего на больших счетах огромную кипу ассигнаций. Но прежде чем говорить о личности офицера и его разговоре, необходимо попристальнее взглянуть на внутренность его балагана и знать хоть немного его образ жизни и занятия. Новый балаган был так велик, прочно заплетен и удобен, с столиками и лавочками, плетеными и из дерна, – как только строят для генералов или полковых командиров; бока и верх, чтобы лист не сыпался, были завешаны тремя коврами, хотя весьма уродливыми, но новыми и, верно, дорогими. На железной кровати, стоявшей под главным ковром с изображенной на нем амазонкой, лежало плюшевое ярко-красное одеяло, грязная прорванная кожаная подушка и енотовая шуба; на столе стояло зеркало в серебряной раме, серебряная, ужасно грязная, щетка, изломанный, набитый масляными волосами роговой гребень, серебряный подсвечник, бутылка ликера с золотым красным огромным ярлыком, золотые часы с изображением Петра I, два золотые перстня, коробочка с какими-то капсюлями, корка хлеба, и разбросанные старые карты, и пустые и полные бутылки портера под кроватью. Офицер этот заведовал обозом полка и продовольствием лошадей. С ним вместе жил его большой приятель – комиссионер, занимающийся тоже какими-то операциями. Он, в то время как вошли братья, спал в палатке; обозный же офицер делал счета казенных денег перед концом месяца. Наружность обозного офицера была очень красивая и воинственная: большой рост, большие усы, благородная плотность. Неприятна была в нем только какая-то потность и опухлость всего лица, скрывавшая почти маленькие серые глаза (как будто он весь был налит портером), и чрезвычайная нечистоплотность – от жидких масляных волос до больших босых ног в каких-то горностаевых туфлях.

– Денег-то, денег-то! – сказал Козельцов 1-й, входя в балаган и с невольной жадностью устремляя глаза на кучу ассигнаций. – Хоть бы половину займы дали, Василий Михайлыч!

Обозный офицер, как будто пойманный на воровстве, весь покоробился, увидав гостя, и, собирая деньги, не поднимаясь, поклонился.

– Ох, коли бы мои были... Казенные, батюшка! А это кто с вами? – сказал он, упрятывая деньги в шкатулку, которая стояла около него, и прямо глядя на Володю.

– Это мой брат, из корпуса приехал. Да вот мы заехали узнать у вас, где полк стоит.

– Садитесь, господа, – сказал он, вставая и, не обращая внимания на гостей, уходя в палатку. – Выпить не хотите ли? Портерку, может быть? – сказал он оттуда.

– Не мешает, Василий Михайлыч!

Володя был поражен величием обозного офицера, его небрежной манерой и уважением, с которым обращался к нему брат.

"Должно быть, это очень хороший у них офицер, которого все почитают; верно, простой, очень храбрый и гостеприимный", – подумал он, скромно и робко сядя на диван.

– Так где же ваш полк стоит? – спросил через палатку старший брат.

– Что?

Он повторил вопрос.

– Нынче у меня Зейфер был: он рассказывал, что перешли вчера на 5-й бастион.

– Наверное?

– Коли я говорю, стало быть верно; а впрочем, черт его знает! Он и соврать не дорого возьмет. Что ж, будете портер пить? – сказал обозный офицер все из палатки.

– А пожалуй, выпью, – сказал Козельцов.

– А вы выпьете, Осип Игнатьич? – продолжал голос в палатке, верно, обращаясь к спавшему комиссионеру. – Полноте спать: уж осьмой час.

– Что вы пристаёте ко мне! я не сплю, – отвечал ленивый тоненький голосок, приятно картавя на буквах *л* и *р*.

– Ну, вставайте: мне без вас скучно.

И обозный офицер вышел к гостям.

– Дай портеру. Симферопольского! – крикнул он.

Денщик с гордым выражением лица, как показалось Володе, вошел в балаган и из-под него, даже толкнув офицера, достал портер.

– Да, батюшка, – сказал обозный офицер, наливая стаканы, – нынче новый полковой командир у нас. Денежки нужны, всем обзаводится.

– Ну этот, я думаю, совсем особенный, новое поколение, – сказал Козельцов, учтиво взяв стакан в руку.

– Да, новое поколение! Такой же скряга будет. Как батальоном командовал, так как кричал, а теперь другое поет. Нельзя, батюшка.

– Это так.

Меньшой брат ничего не понимал, что они говорят, но ему смутно казалось, что брат говорит не то, что думает, но как будто потому только, что пьет портер этого офицера.

Бутылка портера уже была выпита, и разговор продолжался уже довольно долго в том же роде, когда полы палатки распахнулись, и из нее выступил невысокий свежий мужчина в синем атласном халате с кисточками, в фуражке с красным околышем и кокардой. Он вышел, поправляя свои черные усики, и, глядя куда-то на ковер, едва заметным движением плеча ответил на поклоны офицеров.

– Дай-ка и я выпью стаканчик! – сказал он, садясь подле стола. – Что это, вы из Петербурга едете, молодой человек? – сказал он, ласково обращаясь к Володе.

– Да-с, в Севастополь еду.

– Сами просились?

– Да-с.

– И что вам за охота, господа, я не понимаю! – продолжал комиссионер. – Я бы теперь, кажется, пешком готов был уйти, ежели бы пустили, в Петербург. Опостыла, ей-богу, эта собачья жизнь!

– Чем же тут плохо вам? – сказал старший Козельцов, обращаясь к нему. – Еще вам бы не жизнь здесь! Комиссионер посмотрел на него и отвернулся.

– Эта опасность ("про какую он говорит опасность, сидя на Северной", – подумал Козельцов), лишения, ничего достать нельзя, – продолжал он, обращаясь все к Володе. – И что вам за охота, я решительно вас не понимаю, господа! Хоть бы выгоды какие-нибудь были, а то так. Ну, хорошо ли это, в ваши лета вдруг останетесь калекой на всю жизнь?

– Кому нужны доходы, а кто из чести служит! – с досадой в голосе опять вмешался Козельцов старший.

– Что за честь, когда нечего есть! – презрительно смеясь, сказал комиссионер, обращаясь к обозному офицеру, который тоже засмеялся при этом. – Заведи-ка из "Лучии", мы послушаем, – сказал он, указывая на коробочку с музыкой, – я люблю ее...

– Что, он хороший человек, этот Василий Михайлыч? – спросил Володя у брата, когда они уже в сумерки вышли из балагана и поехали дальше к Севастополю.

– Ничего, только скупая шельма такая, что ужас! Ведь он малым числом имеет 300 рублей в месяц! А живет, как свинья, ведь ты видел. А комиссионера этого я видеть не могу, я его побью когда-нибудь. Ведь эта каналья из Турции тысяч 12 вывез... – И Козельцов стал распространяться о лихоимстве, немножко (сказать по правде) с той особенной злобой человека, который осуждает не за то, что лихоимство – зло, а за то, что ему досадно, что есть люди, которые пользуются им.

Володя не то чтоб был не в духе, когда уже почти ночью подъезжал к большому мосту через бухту, но он ощущал какую-то тяжесть на сердце. Все, что он видел и слышал, было так мало сообразно с его прошедшими недавними впечатлениями: паркетная светлая большая зала экзамена, веселые, добрые голоса и смех товарищей, новый мундир, любимый царь, которого он семь лет привык видеть и который, прощаясь с ними со слезами, называл их детьми своими, – и так мало все, что он видел, похоже на его прекрасные, радужные, великодушные мечты.

– Ну, вот мы и приехали! – сказал старший брат, когда они, подъехав к Михайловской батарее, вышли из повозки. – Ежели нас пропустят на мосту, мы сейчас же пойдем в Николаевские казармы. Ты там останься до утра, а я пойду в полк – узнаю, где твоя батарея стоит, и завтра приду за тобой.

– Зачем же? лучше вместе пойдем, – сказал Володя. – И я пойду с тобой на бастион. Ведь уж все равно: привыкать надо. Ежели ты пойдешь, и я могу.

– Лучше не ходить.

– Нет, пожалуйста, я, по крайней мере, узнаю, как...

– Мой совет не ходить, а пожалуй...

Небо было чисто и темно; звезды и беспрестанно движущиеся огни бомб и выстрелов уже ярко светились во мраке. Большое белое здание батареи и начало моста выдавались из темноты. Буквально каждую секунду несколько орудийных выстрелов и взрывов, быстро следуя друг за другом или вместе, громче и отчетливее потрясали воздух. Из-за этого гула, как будто вторя ому, слышалось пасмурное ворчание бухты. С моря тянул ветерок, и пахло сыростью. Братья подошли к мосту. Какой-то ополченец стукнул неловко ружьем на руку и крикнул:

– Кто идет?

– Солдат!

– Не велено пущать!

– Да как же! Нам нужно.

– Офицера спросите.

Офицер, дремавший сидя на якоре, приподнялся и велел пропустить.

– Туда можно, оттуда нельзя. Куда лезешь все разом! – крикнул он на полковые повозки, высоко наложенные турами, которые толпились у въезда.

Спускаясь на первый понтон, братья столкнулись с солдатами, которые, громко разговаривая, шли оттуда.

– Когда он амунишные получил, значит, он в расчете сполностью – вот что...

– Эх, братцы! – сказал другой голос. – Как на Сиверную перевалишь, свет увидишь, ей-богу! Совсем воздух другой.

– Говори больше! – сказал первый. – Намеднись тут же прилетела окаянная, двум матросам ноги пооборвала, – так не говори лучше.

Братья прошли первый понтон, дожидаясь повозки, и остановились на втором, который местами уже заливало водой. Ветер, казавшийся слабым в поле, здесь был весьма силен и порывист; мост качало, и волны, с шумом ударяясь о бревна и разрезаясь на якорях и канатах, заливали доски. Направо туманно-враждебно шумело и чернело море, отделяясь бесконечно ровной черной линией от звездного, светло-сероватого в слиянии горизонта; и далеко где-то светились огни на неприятельском флоте; налево чернела темная масса нашего корабля и слышались удары волн о борта его; виднелся пароход, шумно и быстро двигавшийся от Северной. Огонь разорвавшейся около него бомбы осветил мгновенно высоко наваленные туры на палубе, двух человек, стоящих наверху, и белую пену и брызги зеленоватых волн, разрезаемых пароходом. У края моста сидел, спустив ноги в воду, какой-то человек в одной рубахе и чинил что-то в понтоне; впереди, над Севастополем, носились те же огни, и громче, громче долетали страшные звуки. Набежавшая волна с моря разлилась по правой стороне моста и замочила ноги Володе; два солдата, шлепая ногами по воде, прошли мимо него. Что-то вдруг с треском осветило мост впереди, едущую по нем повозку и

верхового, и осколки, с свистом поднимая брызги, попадали в воду.

– А, Михаил Семеныч! – сказал верховой, останавливая лошадь против старшего Козельцова, – что, уж совсем поправились?

– Как видите. Куда вас Бог несет?

– На Северную за патронами: ведь я нынче за полкового адъютанта... штурма ждем с часу на час, а по пяти патронов в суме нет. Отличные распоряжения!

– А где же Марцов?

– Вчера ногу оторвало... в городе, в комнате спал... Может, вы его застанете, он на перевязочном пункте.

– Полк на 5-м, правда?

– Да, на место М...цов заступили. Вы зайдите на перевязочный пункт: там наши есть – вас проведут.

– Ну, а квартирка моя на Морской цела?

– И, батюшка! уж давно всю разбили бомбами. Вы не узнаете теперь Севастополя; уж женщин ни души нет, ни трактиров, ни музыки; вчера последнее заведение переехало. Теперь ужасно грустно стало... Прощайте!

И офицер рысью поехал дальше.

Володе вдруг сделалось ужасно страшно: ему все казалось, что сейчас прилетит ядро или осколок и ударит его прямо в голову. Этот сырой мрак, все звуки эти, особенно ворчливый плеск волн, – казалось, все говорило ему, чтобы он не шел дальше, что не ждет его здесь ничего доброго, что нога его уж никогда больше не ступит на русскую землю по эту сторону бухты, чтобы сейчас же он вернулся и бежал куда-нибудь, как можно дальше от этого страшного места смерти. "Но, может, уж поздно, уж решено теперь", – подумал он, содрогаясь частью от этой мысли, частью оттого, что вода прошла ему сквозь сапоги и мочила ноги.

Володя глубоко вздохнул и отошел немного в сторону от брата.

– Господи! неужели же меня убьют, именно меня? Господи, помилуй меня! – сказал он шепотом и перекрестился.

– Ну, пойдем, Володя, – сказал старший брат, когда повозочка въехала на мост. – Видел бомбу?

На мосту встречались братьям повозки с ранеными, с турами, одна с мебелью, которую везла какая-то женщина. На той же стороне никто не задержал их.

Инстинктивно, придерживаясь стенки Николаевской батареи, братья, молча, прислушиваясь к звукам бомб, лопавшихся уже тут над головами, и реву осколков, валившихся сверху, пришли к тому месту батареи, где образ. Тут узнали они, что 5 легкая, в которую назначен был Володя, стоит на Корабельной, и решили вместе, несмотря на опасность, идти ночевать к старшему брату на 5 бастион, а оттуда завтра в батарею. Повернув в коридор, шагая через ноги спящих солдат, которые лежали вдоль всей стены батареи, они наконец пришли на перевязочный пункт.

## 11

Войдя в первую комнату, обставленную койками, на которых лежали раненые, и пропитанную этим тяжелым, отвратительно-ужасным гошпитальным запахом, они встретили двух сестер милосердия, вышедших им навстречу.

Одна женщина, лет 50, с черными глазами и строгим выражением лица, несла бинты и корпию и отдавала приказания молодому мальчику, фельдшеру, который шел за ней; другая, весьма хорошенькая девушка, лет 20, с бледным и нежным белокурым личиком, как-то особенно мило-беспомощно смотревшим из-под белого чепчика, обкладывавшего ей лицо, шла, руки в карманах передника, потупившись, подле старшей и, казалось, боялась отставать от нее.

Козельцов обратился к ним с вопросом, не знают ли они, где Марцов, которому вчера оторвало ногу.

– Это, кажется, П. полка? – спросила старшая. – Что, он вам родственник?

– Нет-с, товарищ.

– Гм! Проводите их, – сказала она молодой сестре, по-французски, – вот сюда, – а сама подошла с фельдшером к раненому.

– Пойдем же, что ты смотришь! – сказал Козельцов Володе, который, подняв брови, с каким-то страдальческим выражением, не мог оторваться – смотрел на раненых. – Пойдем же.

Володя пошел с братом, но все продолжая оглядываться и бессознательно повторяя:

– Ах, Боже мой! Ах, Боже мой!

– Верно, они недавно здесь? – спросила сестра у Козельцова, указывая на Володю, который, ахая и вздыхая, шел за ними по коридору.

– Только что приехал.

Хорошенькая сестра посмотрела на Володю и вдруг заплакала.

– Боже мой, Боже мой! Когда это все кончится! – сказала она с отчаянием в голосе.

Они вошли в офицерскую палату. Марцов лежал навзничь, закинув жилистые, обнаженные до локтей руки за голову и с выражением на желтом лице человека, который стиснул зубы, чтобы не кричать от боли. Целая нога была в чулке высунута из-под одеяла, и видно было, как он на ней судорожно перебирает пальцами.

– Ну что, как вам? – спросила сестра, своими тоненькими, нежными пальцами, на одном из которых, Володя заметил, было золотое колечко, поднимая его немного плешивую голову и поправляя подушку. – Вот ваши товарищи пришли вас проведать.

– Разумеется, больно, – сердито сказал он. – Оставьте, мне хорошо! – И пальцы в чулке зашевелились еще быстрее. – Здравствуйте! Как вас зовут, извините? – сказал он, обращаясь к Козельцову. – Ах, да, виноват, тут все забудешь, – сказал он, когда тот сказал ему свою фамилию. – Ведь мы с тобой вместе жили, – прибавил он без всякого выражения удовольствия, вопросительно глядя на Володю.

– Это мой брат, нынче приехал из Петербурга.

– Гм! А я – то вот и *полный* выслужил, – сказал он, морщась. – Ах, как больно!... Да уж лучше бы конец скорее.

Он вздернул ногу и, промычав что-то, закрыл лицо руками.

– Его надо оставить, – шепотом сказала сестра, со слезами на глазах, – уж он очень плох.

Братья еще на Северной решили идти вместе на пятый бастион; но, выходя из Николаевской батареи, они как будто условились не подвергаться напрасно опасности и, ничего не говоря об этом предмете, решили идти каждому порознь.

– Только как ты найдешь, Володя? – сказал старший. – Впрочем, Николаев тебя проводит на Корабельную, а я пойду один и завтра у тебя буду.

Больше ничего не было сказано в это последнее прощанье между двумя братьями.

## 12

Гром пушек продолжался с той же силой, но Екатерининская улица, по которой шел Володя, с следовавшим за ним молчаливым Николаевым, была пустынна и тиха. Во мраке виднелась ему только широкая улица с белыми, во многих местах разрушенными стенами больших домов и каменный тротуар, по которому он шел; изредка встречались солдаты и офицеры. Проходя по левой стороне улицы, около Адмиралтейства, при свете какого-то яркого огня, горевшего за стеной, он увидел посаженные вдоль тротуара акации с зелеными подпорками и жалкие, запыленные листья этих акаций. Шаги свои и Николаева, тяжело дышавшего, шедшего за ним, он слышал явственно. Он ничего не думал: хорошенькая сестра

милосердия, нога Марцова с движущимися в чулке пальцами, мрак, бомбы и различные образы смерти смутно носились в его воображении. Вся его молодая впечатлительная душа сжалась и ныла под влиянием сознания одиночества и всеобщего равнодушия к его участи в то время как он был в опасности. "Убьют, буду мучиться, страдать, – и никто не заплачет!" И все это вместо исполненной энергии и сочувствия жизни героя, о которой он мечтал так славно. Бомбы лопались и свистели ближе и ближе, Николаев вздыхал чаще и не нарушал молчания. Проходя через мост, ведущий на Корабельную, он увидел, как что-то, свистя, влетело недалеко от него в бухту, на секунду багрово осветило лиловые волны, исчезло и потом с брызгами поднялось оттуда.

– Вишь, не задохлась! – сказал Николаев.

– Да, – ответил он, невольно и неожиданно для себя каким-то тоненьким-тоненьким, пискливым голоском.

Встречались носилки с ранеными, опять полковые повозки с турами; какой-то полк встретился на Корабельной; верховые проезжали мимо. Один из них был офицер с казаком. Он ехал рысью, но, увидав Володю, приостановил лошадь около него, взгляделся ему в лицо, отвернулся и поехал прочь, ударив плетью по лошади. "Один, один! всем все равно, есть ли я, или нет меня на свете", – подумал с ужасом бедный мальчик, и ему без шуток захотелось плакать.

Поднявшись на гору мимо какой-то высокой белой стены, он вошел в улицу разбитых маленьких домиков, беспрестанно освещаемых бомбами. Пьяная, растерзанная женщина, выходя из калитки с матросом, наткнулась на него.

– Потому, коли бы он был блаародный чуаек, – пробормотала она, – пардон, ваш благородие офицер!

Сердце все больше и больше ныло у бедного мальчика; а на черном горизонте чаще и чаще вспыхивала молния, и бомбы чаще и чаще свистели и лопались около него. Николаев глубоко вздохнул и вдруг начал говорить каким-то, как показалось Володе, гробовым голосом:

– Вот всё торопились из губернии ехать. Ехать да охать. Есть куда торопиться! Которые умные господа, так, чуть мало-мальски ранены, живут себе в ошпитале. Так-то хорошо, что лучше не надо.

– Да что ж, коли брат уж здоров теперь, – отвечал Володя, надеясь хоть разговором разогнать чувство, овладевшее им.

– Здоров! Какое его здоровье, когда он вовсе болен? Которые и настоящие здоровые-то, и те, которые умные ость, живут в ошпитале в этакое время. Что тут-то радости много, что ли? Либо ногу, либо руку оторвет – вот те и всё! Долго ли до греха! Уж на что здесь, в городе, не то, что на баксионе, и то страсть какая. Идешь – молитвы все перечитаешь. Ишь, бестия, так мимо тебя и дзакнет! – прибавил он, обращая внимание на звук близко прожужжавшего осколка. – Вот теперича, – продолжал Николаев, – велел ваше благородие проводить. Наше дело известно: что приказано, то должен исполнять; а ведь главное – повозку так на какого-то солдатишку бросили, и узел развязан. Иди да иди; а что из имения пропадет, Николаев отвечай.

Пройдя еще несколько шагов, они вышли на площадь. Николаев молчал и вздыхал.

– Вон артилерия ваша стоит, ваше благородие! – сказал он вдруг. – У часового спросите: он вам покажет. – И Володя, пройдя несколько шагов, перестал слышать за собой звуки вздохов Николаева.

Он вдруг почувствовал себя совершенно, окончательно одним. Это сознание одиночества в опасности – перед смертью, как ему казалось, – ужасно тяжелым, холодным камнем легло ему на сердце. Он остановился посередине площади, оглянулся: не видит ли его кто-нибудь, схватился за голову и с ужасом проговорил и подумал: "Господи! неужели я трус, подлый, гадкий, ничтожный трус? Неужели за отечество, за царя, за которого с наслаждением мечтал умереть так недавно, я не могу умереть честно? Нет! я несчастное, жалкое создание!" – И Володя с истинным чувством отчаяния и разочарования в самом себе

спросил у часового дом батарейного командира и пошел по указанному направлению.

## 13

Жилище батарейного командира, которое указал ему часовой, был небольшой 2-х этажный домик со входом с двора. В одном из окон, залепленном бумагой, светился слабый огонек свечки. Денщик сидел на крыльце и курил трубку. Он пошел доложить батарейному командиру и ввел Володю в комнату. В комнате между двух окон, под разбитым зеркалом, стоял стол, заваленный казенными бумагами, несколько стульев и железная кровать с чистой постелью и маленьким коврикком около нее.

Около самой двери стоял красивый мужчина с большими усами – фельдфебель, – в тесаче и шинели, на которой висели крест и венгерская медаль. Посередине комнаты взад и вперед ходил невысокий, лет 40, штаб-офицер с подвязанной распухшей щекой, в тонкой старенькой шинели.

– Честь имею явиться, прикомандированный в 5-ю легкую, прапорщик Козельцов 2-й, – проговорил Володя заученную фразу, входя в комнату.

Батарейный командир сухо ответил на поклон и, не подавая руки, пригласил его садиться.

Володя робко опустился на стул подле письменного стола и стал перебирать в пальцах ножницы, попавшиеся ему в руки. Батарейный командир, заложив руки за спину и опустив голову, только изредка поглядывая на руки, вертевшие ножницы, молча продолжал ходить по комнате с видом человека, припоминающего что-то.

Батарейный командир был довольно толстый человечек, с большою плешью на маковке, густыми усами, пущенными прямо и закрывавшими рот, и большими приятными карими глазами. Руки у него были красивые, чистые и пухлые, ножки очень вывернутые, ступавшие с уверенностью и некоторым щегольством, доказывавшим, что батарейный командир был человек незастенчивый.

– Да, – сказал он, останавливаясь против фельдфебеля, – ящичным надо будет с завтрашнего дня еще по гарнцу прибавить, а то они у нас худы. Как ты думаешь?

– Что ж, прибавить можно, ваше высокоблагородие! Теперь все подешевле овес стал, – отвечал фельдфебель, шевеля пальцы на руках, которые он держал по швам, но которые, очевидно, любили жестом помогать разговору. – А еще фуражир наш Франшук вчера мне из обоза записку прислал, ваше высокоблагородие, что осей непременно нам нужно будет там купить, – говорят, дешево, – так как изволите приказать?

– Что ж, купить: ведь у него деньги есть. – И батарейный командир снова стал ходить по комнате. – А где ваши вещи? – спросил он вдруг у Володи, останавливаясь против него.

Бедного Володю так одолевала мысль, что он трус, что в каждом взгляде, в каждом слове он находил презрение к себе, как к жалкому трусу. Ему показалось, что батарейный командир уже проник его тайну и подтрунивает над ним. Он, смутившись, отвечал, что вещи на Графской и что завтра брат обещал их доставить ему.

Но подполковник не дослушал его и, обратясь к фельдфебелю, спросил:

– Где бы нам поместить прапорщика?

– Прапорщика-с? – сказал фельдфебель, еще больше смущая Володю беглым брошенным на него взглядом, выразившим как будто вопрос: "Ну что это за прапорщик, и стоит ли его помещать куда-нибудь?" – Да вот-с внизу, ваше высокоблагородие, у штабс-капитана могут поместиться их благородие, – продолжал он, подумав немного, – теперь штабс-капитан на баксионе, так ихняя койка пустая остается.

– Так вот, не угодно ли-с покамест? – сказал батарейный командир. – Вы, я думаю, устали, а завтра лучше устроим.

Володя встал и поклонился.

– Не угодно ли чаю? – сказал батарейный командир, когда Володя уж подходил к

двери. – Можно самовар поставить.

Володя поклонился и вышел. Полковничий денщик провел его вниз и ввел в голую, грязную комнату, в которой валялся разный хлам и стояла железная кровать без белья и одеяла. На кровати, накрывшись толстой шинелью, спал какой-то человек в розовой рубашке.

Володя принял его было за солдата.

– Петр Николаич! – сказал денщик, толкая за плечо спящего. – Тут прапорщик лягут... Это наш юнкер, – прибавил он, обращаясь к прапорщику.

– Ах, не беспокойтесь, пожалуйста! – сказал Володя; но юнкер, высокий, плотный, молодой мужчина, с красивой, но весьма глупой физиономией, встал с кровати, накинул шинель и, видимо, не проснувшись еще хорошенько, вышел из комнаты.

– Ничего, я на дворе лягу, – пробормотал он.

## 14

Оставшись наедине с своими мыслями, первым чувством Володи было отвращение к тому беспорядочному, безотрадному состоянию, в котором находилась душа его. Ему захотелось заснуть и забыть все окружающее, а главное – самого себя. Он потушил свечку, лег на постель и, сняв с себя шинель, закрылся с головою, чтобы избавиться от страха темноты, которому он еще с детства был подвержен. Но вдруг ему пришла мысль, что прилетит бомба, пробьет крышу и убьет его. Он стал вслушиваться; над самой его головой слышались шаги батарейного командира.

"Впрочем, ежели и прилетит, – подумал он, – то прежде убьет наверху, а потом меня; по крайней мере, не меня одного". Эта мысль успокоила его немного; он стал было засыпать. "Ну что, ежели вдруг ночью возьмут Севастополь и французы ворвутся сюда? Чем я буду защищаться?" Он опять встал и походил по комнате. Страх действительной опасности подавил таинственный страх мрака. Кроме седла и самовара, в комнате ничего твердого не было. "Я подлец, я трус, мерзкий трус!" – вдруг подумал он и снова перешел к тяжелому чувству презрения, отвращения даже к самому себе. Он снова лег и старался не думать. Тогда впечатления дня невольно возникали в воображении при непрерывных, заставлявших дрожать стекла в единственном окне звуках бомбардирования и снова напоминали об опасности: то ему грезились раненые и кровь, то бомбы и осколки, которые влетают в комнату, то хорошенькая сестра милосердия, делающая ему, умирающему, перевязку и плачущая над ним, то мать его, провожающая его в уездном городе и горячо, со слезами, молящаяся перед чудотворной иконой, – и снова сон кажется ему невозможным. Но вдруг мысль о Боге всемогущем, добром, который все может сделать и услышит всякую молитву, ясно пришла ему в голову. Он стал на колени, перекрестился и сложил руки так, как его в детстве еще учили молиться. Этот жест вдруг перенес его к давно забытому отрадному чувству.

"Ежели нужно умереть, нужно, чтоб меня не было, сделай это, Господи, – думал он, – поскорее сделай это; но ежели нужна храбрость, нужна твердость, которых у меня нет, – дай мне их, но избави от стыда и позора, которых я не могу переносить, но научи, что мне делать, чтобы исполнить твою волю".

Детская, запуганная, ограниченная душа вдруг возмужала, просветлела и увидела новые, обширные, светлые горизонты. Много еще передумал и перечувствовал он в то короткое время, пока продолжалось это чувство, но заснул скоро покойно и беспечно, под звуки продолжавшегося гула бомбардирования и дрожания стекол.

Господи великий! только ты один слышал и знаешь те простые, но жаркие и отчаянные мольбы неведения, смутного раскаяния и страдания, которые восходили к тебе из этого страшного места смерти, – от генерала, за секунду перед этим думавшего о завтраке и Георгии на шею, но с страхом чующего близость твою, до измученного, голодного, вшивого



солдата, повалившегося на голом полу Николаевской батареи и просящего тебя скорее дать ему там бессознательно предчувствуемую им награду за все незаслуженные страдания! Да, ты не уставал слушать мольбы детей твоих, ниспосылаешь им везде ангела-утешителя, владавшему в душу терпение, чувство долга и отраду надежды.

## 15

Старший Козельцов, встретив на улице солдата своего полка, с ним вместе направился прямо к 5-му бастиону.

– Под стенкой держитесь, ваше благородие! – сказал солдат.

– А что?

– Опасно, ваше благородие; вон она аж через несет, – сказал солдат, прислушиваясь к звуку просвистевшего ядра, ударившегося о сухую дорогу по той стороне улицы.

Козельцов, не слушая солдата, бодро пошел по середине улицы.

Все те же были улицы, те же, даже более частые, огни, звуки, стоны, встречи с ранеными и те же батареи, бруствера и траншеи, какие были весною, когда он был в Севастополе; но все это почему-то было теперь грустнее и вместе энергичнее, – пробоин в домах больше, огней в окнах уже совсем нету, исключая Кущина дома (госпиталя), женщины ни одной не встречается, – на всем лежит теперь не прежний характер привычки и беспечности, а какая-то печать тяжелого ожидания, усталости и напряженности.

Но вот уже последняя траншея, вот и голос солдатика П. полка, узнавшего своего прежнего ротного командира, вот и 3-й батальон стоит в темноте, прижавшись у стенки, изредка на мгновение освещаемый выстрелами и слышный сдержанным говором и побрякиванием ружей.

– Где командир полка? – спросил Козельцов.

– В блиндаже у флотских, ваше благородие! – отвечал услужливый солдатик. – Пожалуйте, я вас провожу.

Из траншеи в траншею солдат привел Козельцова к канавке в траншее. В канавке сидел матрос, покуривая трубочку; за ним виднелась дверь, в щели которой просвечивал огонь.

– Можно войти?

– Сейчас доложу. – И матрос вошел в дверь. Два голоса говорили за дверью.

– Ежели Пруссия будет продолжать держать нейтралитет, – говорил один голос, – то Австрия тоже...

– Да что Австрия, – говорил другой, – когда славянские земли... Ну, проси.

Козельцов никогда не был в этом блиндаже. Он поразил его своей щеголеватостью. Пол был паркетный, ширмочки закрывали дверь. Две кровати стояли по стенам, в углу висела большая, в золотой ризе, икона божьей матери, и перед ней горела розовая лампадка. На одной из кроватей спал моряк, совершенно одетый, на другой, перед столом, на котором стояло две бутылки начатого вина, сидели разговаривавшие – новый полковой командир и адъютант. Хотя Козельцов далеко был не трус и решительно ни в чем не был виноват ни перед правительством, ни перед полковым командиром, он робел, и поджилки у него затряслись при виде полковника, бывшего недавнего своего товарища: так гордо встал этот полковник и выслушал его. Притом и адъютант, сидевший тут же, смущал своей позой и взглядом, говорившими: "Я только приятель вашего полкового командира. Вы не ко мне являетесь, и я от вас никакой почтительности не могу и не хочу требовать". "Странно, – думал Козельцов, глядя на своего командира, – только семь недель, как он принял полк, а как уж во всем его окружающем – в его одежде, осанке, взгляде – видна власть полкового командира, эта власть, основанная не столько на летах, на старшинстве службы, на военном достоинстве, сколько на богатстве полкового командира. Давно ли, – думал он, – этот самый Батрищев кучивал с нами, носил по неделям ситцевую немаркую рубашку и едал, никого не приглашая к себе, вечные битки и вареники! А теперь! голландская рубашка уж торчит из-

под драпового с широкими рукавами сюртука, 10-ти рублевая сигара в руке, на столе шестирублевый лафит, – все это закупленное по невероятным ценам через квартирмейстера в Симферополе, – и в глазах это выражение холодной гордости аристократа богатства, которое говорит вам: хотя я тебе и товарищ, потому что я полковой командир новой школы, но не забывай, что у тебя 60 рублей в треть жалованья, а у меня десятки тысяч проходят через руки, и поверь, что я знаю, как ты готов бы полжизни отдать за то только, чтобы быть на моем месте".

– Вы долгонько лечились, – сказал полковник Козельцову, холодно глядя на него.

– Болен был, полковник, еще и теперь рана хорошенько не закрылась.

– Так вы напрасно приехали, – с недоверчивым взглядом на плотную фигуру офицера сказал полковник. – Вы можете, однако, исполнять службу?

– Как же-с, могу-с.

– Ну, и очень рад-с. Так вы примите от прапорщика Зайцева 9-ю роту – вашу прежнюю; сейчас же вы получите приказ.

– Слушаю-с.

– Потрудитесь, когда вы пойдете, послать ко мне полкового адъютанта, – заключил полковой командир, легким поклоном давая чувствовать, что аудиенция кончена.

Выйдя из блиндажа, Козельцов несколько раз промычал что-то и подернул плечами, как будто ему было от чего-то больно, неловко или досадно, и досадно не на полкового командира (не за что), а сам собой и всем окружающим он был как будто недоволен. Дисциплина и условие ее – субординация – только приятно, как всякие обзаконенные отношения, когда она основана, кроме взаимного сознания в необходимости ее, на признанном со стороны низшего превосходства в опытности, военном достоинстве или даже просто моральном совершенстве; но зато, как скоро дисциплина основана, как у нас часто случается, на случайности или денежном принципе, – она всегда переходит, с одной стороны, в важничество, с другой – в скрытую зависть и досаду и вместо полезного влияния соединения масс в одно целое производит совершенно противоположное действие. Человек, не чувствующий в себе силы внутренним достоинством внушить уважение, инстинктивно боится сближения с подчиненными и старается внешними выражениями важности отдалить от себя критику. Подчиненные, видя одну эту внешнюю, оскорбительную для себя сторону, – уже за ней, большею частью несправедливо, не предполагают ничего хорошего.

## 16

Козельцов, прежде чем идти к своим офицерам, пошел поздороваться с своею ротой и посмотреть, где она стоит. Бруствера из туров, фигуры траншей, пушки, мимо которых он проходил, даже осколки и бомбы, на которые он спотыкался по дороге, – все это, беспрестанно освещаемое огнями выстрелов, было ему хорошо знакомо. Все это живо врезалось у него в памяти 3 месяца тому назад, в продолжение двух недель, которые он безвыходно провел на этом самом бастионе. Хотя много было ужасного в этом воспоминании, какая-то прелесть прошедшего примешивалась к нему, и он с удовольствием, как будто приятны были проведенные здесь две недели, узнавал знакомые моста и предметы. Рота была расположена по оборонительной стенке к 6-му бастиону.

Козельцов вошел в длинный, совершенно открытый со стороны входа блиндаж, в котором, ему сказали, стоит девятая рота. Буквально ноги некуда было поставить во всем блиндаже: так он от самого входа наполнен был солдатами. В одной стороне его светилась сальная кривая свечка, которую лежа держал солдатик. Другой солдатик по складам читал какую-то книгу, держа ее около самой свечки. В смрадном полусвете блиндажа видны были поднятые головы, жадно слушающие чтеца. Книжка была азбука, и, входя в блиндаж, Козельцов услышал следующее:

– "Страх... смер-ти врожден-ное чувство чело-веку".

– Снимите со свечки-то, – сказал голос. – Книжка славная.

– "Бог... мой..." – продолжал чтец.

Когда Козельцов спросил фельдфебеля, чтец замолк, солдаты зашевелились, закашляли, засморкались, как всегда после сдержанного молчания; фельдфебель, застегиваясь, поднялся около группы чтеца и, шагая через ноги и по ногам тех, которым некуда было убраться, вышел к офицеру.

– Здравствуй, брат! Что, это вся наша рота?

– Здравия желаем! с приездом, ваше благородие! – отвечал фельдфебель, весело и дружелюбно глядя на Козельцова. – Как здоровьем поправились, ваше благородие? Ну и слава Богу! А то мы без вас соскучились.

Видно сейчас было, что Козельцова любили в роте. В глубине блиндажа послышались голоса: "Старый ротный приехал, что раненый был, Козельцов, Михаил Семеныч", и т. п.; некоторые даже пододвинулись к нему, барабанщик поздоровался.

– Здравствуй, Обанчук! – сказал Козельцов. – Цел? – Здорово, ребята! – сказал он потом, возвышая голос.

– Здравия желаем! – загудело в блиндаже.

– Как поживаете, ребята?

– Плохо, ваше благородие: одолевает француз, – так дурно бьет из-за шанцов[64], да и шабаш, а в поле не выходит.

– Авось на мое счастье, Бог даст, и выйдет в поле, ребята! – сказал Козельцов. – Уж мне с вами не в первый раз: опять поколотим.

– Ради стараться, ваше благородие! – сказала несколько голосов.

– Что же, они точно смелые, их благородие ужасно какие смелые! – сказал барабанщик не громко, но так, что слышно было, обращаясь к другому солдату, как будто оправдываясь перед ним в словах ротного командира и убеждая его, что в них ничего нет хвастливого и неправдоподобного.

От солдатиков Козельцов перешел в оборонительную казарму к товарищам-офицерам.

## 17

В большой комнате казармы было пропасть народа: морские, артиллерийские и пехотные офицеры. Одни спали, другие разговаривали, сидя на каком-то ящике и лафете крепостной пушки; третьи, составляя самую большую и шумную группу за сводом, сидели на полу, на двух разостланных бурках, пили портер и играли в карты.

– А! Козельцов, Козельцов! хорошо, что приехал, молодец!... Что рана? – слышалось с разных сторон. И здесь видно было, что его любят и рады его приезду.

Пожав руки знакомым, Козельцов присоединился к шумной группе, составившейся из нескольких офицеров, игравших в карты. Между ними были тоже его знакомые. Красивый худощавый брונет, с длинным, сухим носом и большими усами, продолжавшимися от щек, метал банк белыми сухими пальцами, на одном из которых был большой золотой перстень с гербом. Он метал прямо и неаккуратно, видимо чем-то взволнованный и только желая казаться небрежным. Подле него, по правую руку, лежал, облокотившись, седой майор, уже значительно выпивший, и с аффектацией хладнокровия понтировал по полтиннику и тотчас же расплачивался. По левую руку на корточках сидел красный, с потным лицом, офицерик, принужденно улыбался и шутил, когда били его карты; он шевелил беспрестанно одной рукой в пустом кармане шаровар и играл большой маркой, но, очевидно, уже не на чистые, что именно и коробило красивого брונета. По комнате, держа в руках большую кипу ассигнаций, ходил плешивый, с огромным злым ртом, худой и бледный безусый офицер и все ставил ва-банк наличные деньги и выигрывал.

Козельцов выпил водки и подсел к играющим.

– Понтирните-ка, Михаил Семеныч! – сказал ему банкومت. – Денег пропасть, я чай,

привезли.

– Откуда у меня деньгам быть? Напротив, последние в городе спустил.

– Как же! вздули, уж верно, кого-нибудь в Симферополе.

– Право, мало, – сказал Козельцов, но, видимо не желая, чтоб ему верили, расстегнулся и взял в руки старые карты.

– Попытаться нешто, чем черт не шутит! и комар, бывает, что, знаете, какие штуки делает. Выпить только надо для храбрости.

И в непродолжительном времени, выпив еще 3 рюмки водки и несколько стаканов портера, он был уже совершенно в духе всего общества, то есть в тумане и забвении действительности, и проигрывал последние 3 рубля.

На маленьком испотевшем офицере было написано 150 рублей.

– Нет, не везет, – сказал он, небрежно приготавливая новую карту.

– Потрудитесь прислать, – сказал ему банкомет, на минуту останавливаясь метать и взглядывая на него.

– Позвольте завтра прислать, – отвечал потный офицер, вставая и усиленно перебирая рукой в пустом кармане.

– Гм! – промычал банкомет и, злостно бросая направо, налево, дометал талию. – Однако этак нельзя, – сказал он, положив карты, – я бастую. Этак нельзя, Захар Иваныч, – прибавил он, – мы играли на чистые, а не на мелок.

– Что ж, разве вы во мне сомневаетесь? Странно, право!

– С кого прикажете получить? – пробормотал майор, сильно опьяневший к этому времени и выигравший что-то рублей 8. – Я прислал уже больше 20 рублей, а выиграл – ничего не получаю.

– Откуда же и я заплачу, – сказал банкомет, – когда на столе денег нет?

– Я знать не хочу! – закричал майор, поднимаясь. – Я играю с вами, с честными людьми, а не с ними. Потный офицер вдруг разгорячился:

– Я говорю, что заплачу завтра; как же вы смеете мне говорить дерзости?

– Я говорю, что хочу! Так честные люди не делают, вот что! – кричал майор.

– Полноте, Федор Федорыч! – заговорили все, удерживая майора. – Оставьте!

Но майор, казалось, только и ждал того, чтобы его просили успокоиться, для того чтобы расшаркать окончательно. Он вдруг вскочил и, шатаясь, направился к потному офицеру.

– Я дерзости говорю? Кто постарше вас, 20 лет своему царю служит, – дерзости? Ах ты, мальчишка! – вдруг запищал он, все более и более воодушевляясь звуками своего голоса. – Подлец!

Но опустим скорее завесу над этой глубокогрустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело и гордо пойдет навстречу смерти и умрет твердо и спокойно; но одна отрада жизни в тех ужасающих самое холодное воображение условиях отсутствия всего человеческого и безнадежности выхода из них, одна отрада есть забвение, уничтожение сознания. На дне души каждого лежит та благородная искра, которая делает из него героя; но искра эта устает гореть ярко, – придет роковая минута, она вспыхнет пламенем и осветит великие дела.

На другой день бомбардирование продолжалось с тою же силою. Часов в 11-ть утра Володя Козельцов сидел в кружке батарейных офицеров и, уже успев немного привыкнуть к ним, всматривался в новые лица, наблюдал, расспрашивал и рассказывал. Скромная, несколько притязательная на ученость беседа артиллерийских офицеров внушала ему уважение и правилась. Стыдливая же, невинная и красивая наружность Володи располагала к нему офицеров. Старший офицер в батарее, капитан, невысокий рыжеватый мужчина с

хохолком и гладенькими височками, воспитанный по старым преданиям артиллерии, дамский кавалер и будто бы ученый, расспрашивал Володю о знаниях его в артиллерии, новых изобретениях, ласково подтрунивал над его молодостью и хорошеньким личиком и вообще обращался с ним, как отец с сыном, что очень приятно было Володе. Подпоручик Дяденко, молодой офицер, говоривший на он хохлацким выговором, в оборванной шинели и с взъерошенными волосами, хотя и говорил весьма громко и беспрестанно ловил случаи о чем-нибудь желчно поспорить и имел резкие движения, все-таки нравился Володе, который под этой грубой внешностью не мог не видеть в нем очень хорошего и чрезвычайно доброго человека. Дяденко предлагал беспрестанно Володе свои услуги и доказывал ему, что все орудия в Севастополе поставлены не по правилам. Только поручик Черновицкий, с высоко поднятыми бровями, хотя и был учтивее всех и одет в сюртук, довольно чистый, хотя и не новый, но тщательно заплатаанный, и выказывал золотую цепочку на атласном жилете, не нравился Володе. Он все расспрашивал его, что делает государь и военный министр, и рассказывал ему с ненатуральным восторгом подвиги храбрости, свершенные в Севастополе, жалел о том, как мало встречаешь патриотизма и какие делаются неблагоприятные распоряжения и т. д., вообще выказывал много знания, ума и благородных чувств; но почему-то все это казалось Володе заученным и неестественным. Главное, он замечал, что прочие офицеры почти не говорили с Черновицким. Юнкер Вланг, которого он разбудил вчера, тоже был тут. Он ничего не говорил, но, скромно сидя в уголку, смеялся, когда было что-нибудь смешное, вспоминал, когда забывали что-нибудь, подавал водку и делал папироски для всех офицеров. Скромные ли, учтивые манеры Володи, который обращался с ним так же, как с офицером, и не помыкал им, как мальчишкой, или приятная наружность пленили *Влангу*, как называли его солдаты, склоняя почему-то в женском роде его фамилию, только он не спускал своих добрых больших глупых глаз с лица нового офицера, предугадывал и предупреждал все его желания и все время находился в каком-то любовном экстазе, который, разумеется, заметили и подняли на смех офицеры.

Перед обедом сменился штабс-капитан с бастиона и присоединился к их обществу. Штабс-капитан Краут был белокурый красивый бойкий офицер с большими рыжими усами и бакенбардами; он говорил по-русски отлично, но слишком правильно и красиво для русского. В службе и в жизни он был так же, как в языке: он служил прекрасно, был отличный товарищ, самый верный человек по денежным отношениям; но просто как человек, именно оттого, что все это было слишком хорошо, – чего-то в нем не доставало. Как все русские немцы, по странной противоположности с идеальными немецкими немцами, он был практичен в высшей степени.

– Вот он, наш герой является! – сказал капитан в то время, как Краут, размахивая руками и побрякивая шпорами, весело входил в комнату. – Чего хотите, Фридрих Крестьяныч: чаю или водки?

– Я уж приказал себе чайку поставить, – отвечал он, – а водочки покамест хватить можно для услаждения души. Очень приятно познакомиться; прошу нас любить и жаловать, – сказал он Володе, который, встав, поклонился ему, – штабс-капитан Краут. Мне на бастионе фейерверкер сказывал, что вы прибыли еще вчера.

– Очень вам благодарен за вашу постель: я ночевал на ней.

– Покойно ли вам только было? там одна ножка сломана; да все некому починить – в осадном-то положении, – ее подкладывать надо.

– Ну что, счастливо отдежурили? – спросил Дяденко.

– Да ничего, только Скворцову досталось, да лафет один вчера *починили*. Вдребезги разбили станину.

Он встал с места и начал ходить; видно было, что он весь находился под влиянием приятного чувства человека, только что вышедшего из опасности.

– Что, Дмитрий Гаврилыч, – сказал он, потрясая капитана за коленки, – как поживаете, батюшка? Что ваше представленье, молчит еще?

– Ничего еще нет.

– Да и не будет ничего, – заговорил Дяденко, – я вам доказывал это прежде.  
– Отчего же не будет?  
– Оттого, что не так написали реляцию.  
– Ах вы, спорщик, спорщик, – сказал Краут, весело улыбаясь, – настоящий хохол неуступчивый. Ну, вот вам назло же, выйдет вам поручика.  
– Нет, не выйдет.  
– Вланг, принесите-ка мне мою трубочку да набейте, – обратился он к юнкеру, который тотчас же охотно побежал за трубкой.  
Краут всех оживил, рассказывал про бомбардированье, расспрашивал, что без него делалось, заговаривал со всеми.

## 19

– Ну, как? вы уж устроились у нас? – спросил Краут у Володи. – Извините, как ваше имя и отчество? У нас, вы знаете, уж такой обычай в артиллерии. Лошадку верховую приобрели?  
– Нет, – сказал Володя, – я не знаю, как быть. Я капитану говорил: у меня лошади нет, да и денег тоже нет, покуда я не получу фуражных и подъемных. Я хочу просить покамест лошади у батарейного командира, да боюсь, как бы он не отказал мне.  
– Аполлон Сергеич-то? – Он произвел губами звук, выражающий сильное сомнение, и посмотрел на капитана. – Вряд!  
– Что ж, откажет – не беда, – сказал капитан, – тут-то лошади, по правде, и не нужно, а все попытать можно, я спрошу нынче.  
– Как! вы его не знаете, – вмешался Дяденко, – другое что откажет, а им ни за что... хотите пари?...  
– Ну, да ведь уж известно, вы всегда противоречите.  
– Оттого противоречу, что я знаю, он на другое скуп, а лошадь даст, потому что ему нет расчета отказать.  
– Как нет расчета, когда ему здесь по 8 рублей овес обходится! – сказал Краут. – Расчет-то есть не держать лишней лошади!  
– Вы просите себе Скворца, Владимир Семеныч, – сказал Вланг, вернувшийся с трубкой Краута, – отличная лошадка!  
– С которой вы в Сороках в канаву упали? А? Вланга? – засмеялся штабс-капитан.  
– Нет, да что же вы говорите, по 8 рублей овес, – продолжал спорить Дяденко, – когда у него справка по 10 с полтиной; разумеется, не расчет.  
– А еще бы у него ничего не оставалось! Небось вы будете батарейным командиром, так в город не дадите лошади съездить!  
– Когда я буду батарейным командиром, у меня будут, батюшка, лошади по четыре гарничка кушать; доходов не буду собирать, не бойтесь.  
– Поживем, посмотрим, – сказал штабс-капитан. – И вы будете брать доход, и они, как будут батареей командовать, тоже будут остатки в карман класть, – прибавил он, указывая на Володю.  
– Отчего же вы думаете, Фридрих Крестьяныч, что и они захотят пользоваться? – вмешался Черновицкий. – Может, у них состояние есть: так зачем же они станут пользоваться?  
– Нет-с, уж я... извините меня, капитан, – покраснев до ушей, сказал Володя, – уж я это считаю неблагородно.  
– Эге-ге! Какой он бедовый! – сказал Краут. – Дослужитесь до капитана, не то будете говорить.  
– Да это все равно; я только думаю, что ежели не мои деньги, то я и не могу их брать.  
– А я вам вот что скажу, молодой человек, – начал более серьезным тоном штабс-

капитан. – Вы знаете ли, что когда вы командуете батареей, то у вас, ежели хорошо ведете дела, непременно остается в мирное время 500 рублей, в военное – тысяч 7, 8, и от одних лошадей. Ну и ладно. В солдатское продовольствие батарейный командир не вмешивается: уж это так искони ведется в артиллерии; ежели вы дурной хозяин, у вас ничего не останется. Теперь вы должны издерживать, против положения, на ковку – раз (он загнул один палец), на аптеку – два (он загнул другой палец), на канцелярию – три, на подручных лошадей по 500 целковых платят, батюшка, а ремонтная цена 50, и требуют, – это четыре. Вы должны против положения воротники переменить солдатам, на уголь у вас много выходит, стол вы держите для офицеров. Ежели вы батарейный командир, вы должны жить прилично: вам и коляску нужно, и шубу, и всякую штуку, и другое, и третье, и десятое... да что и говорить...

– А главное, – подхватил капитан, молчавший все время, – вот что, Владимир Семеныч: вы представьте себе, что человек, как я, например, служит 20-ть лет на 200 рублях жалованья в нужде постоянной; так не дать ему хоть за его службу кусок хлеба под старость нажить, когда комисьонеры в неделю десятки тысяч наживают?

– Э! да что тут! – снова заговорил штабс-капитан. – Вы не торопитесь судить, а поживите-ка да послужите.

Володе ужасно стало совестно и стыдно за то, что он так необдуманно сказал, и он пробормотал что-то и молча продолжал слушать, как Дяденко с величайшим азартом принялся спорить и доказывать противное.

Спор был прерван приходом денщика полковника, который звал кушать.

– А вы нынче скажите Аполлону Сергеичу, чтоб он вина поставил, – сказал Черновицкий, застегиваясь, капитану. – И что он скупится? Убьют, так никому не достанется!

– Да вы сами скажите, – отвечал капитан.

– Нет уж, вы старший офицер: надо порядок во всем.

## 20

Стол был отодвинут от стены и грязной скатертью накрыт в той самой комнате, в которой вчера Володя являлся полковнику. Батарейный командир нынче подал ему руку и расспрашивал про Петербург и про дорогу.

– Ну-с, господа, кто водку пьет, милости просим! Прапорщики не пьют, – прибавил он, улыбаясь Володе.

Вообще батарейный командир казался нынче вовсе не таким суровым, как вчера; напротив, он имел вид доброго, гостеприимного хозяина и старшего товарища. Но несмотря на то, все офицеры, от старого капитана до спорщика Дяденки, по одному тому, как они говорили, учтиво глядя в глаза командиру, и как робко подходили друг за другом пить водку, показывали к нему большое уважение.

Обед состоял из большой миски щей, в которых плавали жирные куски говядины и огромное количество перцу и лаврового листа, польских зразов с горчицей и колдунов с не совсем свежим маслом. Салфеток не было, ложки были жестяные и деревянные, стаканов было два, и на столе стоял только графин воды, с отбитым горлышком; но обед был не скучен: разговор не умолкал. Сначала речь шла о Инкерманском сражении, в котором участвовала батарея и из которого каждый рассказывал свои впечатления и соображения о причинах неудачи и умолкал, когда начинал говорить сам батарейный командир; потом разговор, естественно, перешел к недостаточности калибра легких орудий, к новым облегченным пушкам, причем Володя успел показать свои знания в артиллерии. Но на настоящем ужасном положении Севастополя разговор не останавливался, как будто каждый слишком много думал об этом предмете, чтоб еще говорить о нем. Тоже об обязанностях службы, которые должен был нести Володя, к его удивлению и огорчению, совсем не было речи, как будто он приехал в Севастополь только затем, чтобы рассказывать об облегченных

орудиях и обедать у батарейного командира. Во время обеда недалеко от дома, в котором они сидели, упала бомба. Пол и стены задрожали, как от землетрясения, и окна застлало пороховым дымом.

– Вы этого, я думаю, в Петербурге не видали; а здесь часто бывают такие сюрпризы, – сказал батарейный командир. – Посмотрите, Вланг, где это лопнула.

Вланг посмотрел и донес, что на площади, и о бомбе больше речи не было.

Перед самым концом обеда старичок, батарейный писарь, вошел в комнату с тремя запечатанными конвертами и подал их батарейному командиру. "Вот этот *весьма нужный*, сейчас казак привез от начальника артиллерии". Все офицеры невольно с нетерпеливым ожиданием смотрели на опытные в этом деле пальцы батарейного командира, сламывавшие печать конверта и достававшие оттуда *весьма нужную* бумагу. «Что это могло быть?» – делал себе вопрос каждый. Могло быть совсем выступление на отдых из Севастополя, могло быть назначение всей батареи на бастионы.

– Опять! – сказал батарейный командир, сердито швырнув на стол бумагу.

– Об чем, Аполлон Сергеич? – спросил старший офицер.

– Требуют офицера с прислугой на какую-то там мортирную батарею. У меня и так всего 4 человека офицеров и прислуги полной в строй не выходит, – ворчал батарейный командир, – а тут требуют еще. Однако надо кому-нибудь идти, господа, – сказал он, помолчав немного, – приказано в 7 часов быть на Рогатке... Послать фельдфебеля! Кому же идти, господа, решайте, – повторил он.

– Да вот они еще нигде не были, – сказал Черновицкий, указывая на Володю.

Батарейный командир ничего не ответил.

– Да, я бы желал, – сказал Володя, чувствуя, как холодный пот выступал у него по спине и шее.

– Нет, зачем! – перебил капитан. – Разумеется, никто не откажется, но и напрашиваться не след; а коли Аполлон Сергеич предоставляет это нам, то кинуть жребий, как и тот раз делали.

Все согласились. Краут нарезал бумажки, скатал их и насыпал в фуражку. Капитан шутил и даже решил при этом случае попросить вина у полковника, для храбрости, как он сказал. Дяденко сидел мрачный. Володя улыбался чему-то, Черновицкий уверял, что непременно ему достанется, Краут был совершенно спокоен.

Володе первому дали выбирать. Он взял один билетик, который был подлиннее, но тут же ему пришлось в голову переменить, – взял другой, поменьше и потолще, и, развернув, прочел на нем: "Идти".

– Мне, – сказал он, вздохнув.

– Ну, и с Богом. Вот вы и обстреляетесь сразу, – сказал батарейный командир, с доброй улыбкой глядя на смущенное лицо прапорщика. – Только поскорей собирайтесь. А чтобы вам веселей было, Вланг пойдет с вами за орудийного фейерверкера.

## 21

Вланг был чрезвычайно доволен своим назначением, живо побежал собираться и, одетый, пришел помогать Володе и все уговаривал его взять с собой и койку, и шубу, и старые "Отечественные записки", и кофейник спиртовой, и другие ненужные вещи. Капитан посоветовал Володе прочесть сначала по "*Руководству* [65]" о стрельбе из мортир и выписать тотчас же оттуда таблицу углов возвышения. Володя тотчас же принялся за дело, и, к удивлению и радости своей, заметил, что хотя чувство страха опасности и, еще более того, что он будет трусом, беспокоили его еще немного, но далеко не в той степени, в какой это было накануне. Отчасти причиной тому было влияние дня и деятельности, отчасти и главное то, что страх, как и каждое сильное чувство, не может в одной степени продолжаться долго. Одним словом, он уже успел переболеть. Часов в семь, только что солнце начинало



прятаться за Николаевской казармой, фельдфебель вошел к нему и объявил, что люди готовы и ждут.

– Я *Вланге*, список отдал. Вы у него извольте спросить, ваше благородие! – сказал он.

Человек 20 артиллерийских солдат в тесаках без принадлежности стояли за углом дома. Володя вместе с юнкером подошел к ним. "Сказать ли им маленькую речь или просто сказать: "Здорово, ребята!", или ничего не сказать? – подумал он. – Да и отчего ж не сказать: "Здорово, ребята!" – это должно даже". И он смело крикнул своим звучным голосом: "Здорово, ребята!" Солдаты весело отозвались: молодой, свежий голосок приятно прозвучал в ушах каждого. Володя бодро шел впереди солдат, и хотя сердце у него стучало так, как будто он пробежал во весь дух несколько верст, походка была легкая и лицо веселое. Подходя уже к самому Малахову кургану, поднимаясь на гору, он заметил, что Вланг, ни на шаг не отстававший от него и дома казавшийся таким храбрым, беспрестанно сторонился и нагибал голову, как будто все бомбы и ядра, уже очень часто свистевшие тут, летели прямо на него. Некоторые из солдатиков делали то же, и вообще на большей части их лиц выразалось ежели не боязнь, то беспокойство. Эти обстоятельства окончательно успокоили и ободрили Володю.

"Так вот я и на Малаховом кургане, который я воображал совершенно напрасно таким страшным! И я могу идти, не кланяясь ядрам, и трушу даже гораздо меньше других! Так я не трус?" – подумал он с наслаждением и даже некоторым восторгом самодовольства.

Однако это чувство бесстрашия и самодовольства было скоро поколеблено зрелищем, на которое он наткнулся в сумерках на Корниловской батарее, отыскивая начальника бастиона. Четыре человека матросов, около бруствера, за ноги и за руки держали окровавленный труп какого-то человека без сапог и шинели и раскачивали его, желая перекинуть через бруствер. (На второй день бомбардирования не успевали убирать тела на бастионах и выкидывали их в ров, чтобы они не мешали на батареях). Володя с минуту остолбенел, увидав, как труп ударился на вершину бруствера и потом медленно скатился оттуда в канаву; но, на его счастье, тут же начальник бастиона встретился ему, отдал приказания и дал проводника на батарею и в блиндаж, назначенный для прислуги. Не буду рассказывать, сколько еще ужасов, опасностей и разочарований испытал наш герой в этот вечер; как вместо такой стрельбы, которую он видел на Волковом поле, при всех условиях точности и порядка, которые он надеялся найти здесь, он нашел 2 разбитые мортирки без прицелов, из которых одна была смята ядром в дуле, а другая стояла на щепках разбитой платформы; как он не мог до утра добиться рабочих, чтоб починить платформу; как ни один заряд не был того веса, который означен был в "Руководстве"; как ранили 2 солдат его команды и как 20 раз он был на волоске от смерти. По счастью, в помощь ему назначен был огромного роста комендор, моряк, с начала осады бывший при мортирах и убедивший его в возможности еще действовать из них, с фонарем водивший его ночью по всему бастиону, точно как по своему огороду, и обещавший к завтраму все устроить. Блиндаж, к которому провел его проводник, была вырытая в каменном грунте, в две кубические сажени продолговатая яма, накрытая аршинными дубовыми бревнами. В ней-то он поместился со всеми своими солдатами. Вланг, первый, как только увидел в аршин низенькую дверь блиндажа, опрометью, прежде всех, вбежал в нее и, чуть не разбившись о каменный пол, забился в угол, из которого уже не выходил больше. Володя же, когда все солдаты поместились вдоль стен на полу и некоторые закурили трубочки, разбил свою кровать в углу, зажег свечку и, закулив папироску, лег на койку. Над блиндажом слышались беспрестанные выстрелы, но не слишком громко, исключая одной пушки, стоявшей рядом и потрясавшей блиндаж так сильно, что с потолка земля сыпалась. В самом блиндаже было тихо: только солдаты, еще дичась нового офицера, изредка переговаривались, прося один другого посторониться или огню – трубочку закурить; крыса скреблась где-то между камнями, или Вланг, не пришедший еще в себя и дико смотревший кругом, вздыхал вдруг громким вздохом. Володя на своей кровати, в набитом народом уголке, освещенном одной свечкой, испытывал то чувство уюта, которое было у него, когда ребенком, играя в прятки,

бывало, он залезал в шкаф или под юбку матери и, не переводя дыхания, слушал, боялся мрака и вместе наслаждался чем-то. Ему было и жутко немножко и весело.

## 22

Минут через 10 солдатики поосмелились и поразговорились. Поближе к огню и кровати офицера расположились люди позначительнее – два фейерверкера: один – седой, старый, со всеми медалями и крестами, исключая Георгиевского; другой – молодой, из кантонистов[66], куривший верченые папироски. Барабанщик, как и всегда, взял на себя обязанность прислуживать офицеру. Бомбардиры и кавалеры сидели поближе, а уж там, в тени около входа, поместились *покорные*. Между ними-то и начался разговор. Поводом к нему был шум быстро ввалившегося в блиндаж человека.

– Что, брат, на улице не посидел? али не весело девки играют? – сказал один голос.

– Такие песни играют чудные, что в деревне никогда не слыхивали, – сказал, смеясь, тот, который вбежал в блиндаж.

– А не любит Васин бомбов, ох, не любит! – сказал один из аристократического угла.

– Что ж! когда нужно, совсем другая статья! – сказал медленный голос Васина, который когда говорил, то все другие замолкали. – 24-го числа так палили по крайности; а то что ж дурно-то на говне убьет, и начальство за это нашему брату спасибо не говорит.

– Вот Мельников – тот небось все на дворе сидит, – сказал кто-то.

– А пошлите его сюда, Мельникова-то, – прибавил старый фейерверкер: – и в самом деле убьет так, понапрасну.

– Что это за Мельников? – спросил Володя.

– А такой у нас, ваше благородие, глупый солдатик есть. Он ничего как есть не боится и теперь все на дворе ходит. Вы его извольте посмотреть: он и из себя-то на ведмедя похож.

– Он заговор знает, – сказал медлительный голос Васина из другого угла.

Мельников вошел в блиндаж. Это был толстый (что чрезвычайная редкость между солдатами), рыжий, красный мужчина, с огромным выпуклым лбом и выпуклыми ясно-голубыми глазами.

– Что, ты не боишься бомб? – спросил его Володя.

– Чего бояться бомбов-то! – отвечал Мельников, пожимаясь и почесываясь, – меня из бомбы не убьют, я знаю.

– Так ты бы захотел тут жить?

– А известно, захотел бы. Тут весело! – сказал он, вдруг расхохотавшись.

– О, так тебя надо на вылазку взять! Хочешь, я скажу генералу? – сказал Володя, хотя он не знал здесь ни одного генерала.

– А как не хотеть! Хочу!

И Мельников спрятался за других.

– Давайте в носки, ребята! У кого карты есть? – послышался его торопливый голос.

Действительно, скоро в заднем углу завязалась игра – слышались удары по носу, смех и козырянье. Володя напился чаю из самовара, который наставил ему барабанщик, угощал фейерверкеров, шутил, заговаривал с ними, желая заслужить популярность и очень довольный тем уважением, которое ему оказывали. Солдатики тоже, заметив, что барин прустый, поразговорились. Один рассказывал, как скоро должно кончиться осадное положение в Севастополе, что ему верный флотский человек рассказывал, как Кистентин, царев брат, с мериканским флотом идет нам на выручку, еще – как скоро уговор будет, чтобы не палить две недели и отдых дать, а коли кто выпалит, то за каждый выстрел 75 копеек штрафа платить будут.

Васин, который, как успел рассмотреть Володя, был маленький, с большими добрыми глазами, бакенбардист, рассказал при общем сначала молчании, а потом хохоте, как, приехав в отпуск, сначала ему были рады, а потом отец стал его посылать на работу, а за женой

лесничий поручик дрожки присылал. Все это чрезвычайно забавляло Володю. Он не только не чувствовал ни малейшего страха или неудовольствия от тесноты и тяжелого запаха в блиндаже, но ему чрезвычайно весело и приятно было.

Уже многие солдаты храпели. Вланг тоже растянулся на полу, и старый фейерверкер, расстелив шинель, крестясь, бормотал молитвы перед сном, когда Володе захотелось выйти из блиндажа – посмотреть, что на дворе делается.

– Подбирай ноги! – закричали друг другу солдаты, только что он встал; и ноги, поджимаясь, дали ему дорогу.

Вланг, казавшийся спящим, вдруг поднял голову и схватил за полу шинели Володю.

– Ну полноте, не ходите, как можно! – заговорил он слезливо-убедительным тоном. – Ведь вы еще не знаете; там беспрестанно падают ядра; лучше здесь...

Но, несмотря на просьбы Вланга, Володя выбрался из блиндажа и сел на пороге, на котором уже сидел, переобуваясь, Мельников.

Воздух был чистый и свежий – особенно после блиндажа; ночь была ясная и тихая. За гулом выстрелов слышался звук колес телег, привозивших туры, и говор людей, работающих на пороховом погребе. Над головами стояло высокое звездное небо, по которому беспрестанно пробегали огненные полосы бомб; налево, в аршине, маленькое отверстие вело в другой блиндаж, в которое виднелись ноги и спины матросов, живших там, и слышались пьяные голоса их; впереди виднелось возвышение порохового погребка, мимо которого мелькали фигуры согнувшихся людей и на котором, на самом верху, под пулями и бомбами, которые беспрестанно свистели в этом месте, стояла какая-то высокая фигура в черном пальто, с руками в карманах, и ногами притаптывала землю, которую мешками носили туда другие люди. Часто бомба пролетала и рвалась весьма близко от погребка. Солдаты, носившие землю, пригибались, сторонились; черная же фигура не двигалась, спокойно утаптывая землю ногами, и все в том же положении оставалась на месте.

– Кто этот черный? – спросил Володя у Мельникова.

– Не могу знать; пойду посмотрю.

– Не ходи, не нужно.

Но Мельников, не слушая, встал, подошел к черному человеку и весьма долго, так же равнодушно и подвижно, стоял около него.

– Это погребной, ваше благородие, – сказал он, возвратившись, – погребок пробито бомбой, так пехотные землю носят.

Изредка бомбы летели прямо, казалось, к двери блиндажа.

Тогда Володя прятался за угол и снова высовывался, глядя наверх, не летит ли еще сюда. Хотя Вланг несколько раз из блиндажа умолял Володю вернуться, он часа три просидел на пороге, находя какое-то удовольствие в испытывании судьбы и наблюдении за полетом бомб. Под конец вечера уж он знал, откуда сколько стреляет орудий и куда ложатся их снаряды.

## 23

На другой день, 27-го числа, после 10-тичасового сна, Володя, свежий, бодрый, рано утром вышел на порог блиндажа. Вланг тоже было вылез вместе с ним, но при первом звуке пули стремглав, пробивая себе головой дорогу, кубарем бросился назад в отверстие блиндажа, при общем хохоте тоже большей частью повышедших на воздух солдатиков. Только Васин, старик фейерверкер и несколько других выходили редко в траншею; остальных нельзя было удержать: все повысыпали на свежий утренний воздух из смрадного блиндажа и, несмотря на столь же сильное, как и накануне, бомбардированье, расположились кто около порога, кто под бруствером. Мельников уже с самой зорьки прогуливался по батареям, равнодушно поглядывая вверх.

Около порога сидели два старых и один молодой курчавый солдат, из жидов по

наружности. Солдат этот, подняв одну из валявшихся пуль и черепком расплюснув ее о камень, ножом вырезал из нее крест на манер Георгиевского; другие, разговаривая, смотрели на его работу. Крест действительно выходил очень красив.

– А что, как еще постоим здесь сколько-нибудь, – говорил один из них, – так по замиренью всем в отставку срок выйдет.

– Как же! мне и то всего 4 года до отставки оставалось, а теперь 5 месяцев простоял в Севастополе.

– К отставке не считается, слышь, – сказал другой. В это время ядро просвистело над головами говоривших и в аршине ударило от Мельникова, подходившего к ним по траншее.

– Чуть не убило Мельникова, – сказал один.

– Не убьет, – отвечал Мельников.

– Вот на же тебе крест за храбрость, – сказал молодой солдат, делавший крест и отдавая его Мельникову.

– Нет, брат, тут, значит, месяц за год ко всему считается – на то приказ был, – продолжался разговор.

– Как ни суди, бисприменно по замиренню исделают смотр царский в *Аршаве*, и коли не отставка, так в бессрочные выпустят.

В это время визгливая, зацепившаяся пулька пролетела над самыми головами разговаривающих и ударила о камень.

– Смотри, еще до вечера вчистую выйдешь, – сказал один из солдат.

И все засмеялись

И не только до вечера, но через 2 часа уже двое из них получили чистую, а 5 были ранены; но остальные шутили точно так же.

Действительно, к утру две мортирки были приведены в такое положение, что можно было стрелять из них. Часу в 10-м, по полученному приказанию от начальника бастиона, Володя вызвал свою команду и с ней вместе пошел на батарею.

В людях незаметно было и капли того чувства боязни, которое выразилось вчера, как скоро они принялись за дело. Только Вланг не мог преодолеть себя: прятался и гнулся все так же, и Васин потерял несколько свое спокойствие, суетился и приседал беспрестанно. Володя же был в чрезвычайном восторге: ему не приходила и мысль об опасности. Радость, что он исполняет хорошо свою обязанность, что он не только не трус, но даже храбр, чувство командования и присутствия 20 человек, которые, он знал, с любопытством смотрели на него, сделали из него совершенного молодца. Он даже тщеславился своей храбростью, франтил перед солдатами, вылезал на банкет и нарочно расстегнул шинель, чтобы его заметнее было. Начальник бастиона, обходивший в это время свое хозяйство, по его выражению, как он ни привык в 8 месяцев ко всяким родам храбрости, не мог не полюбоваться на этого хорошенького мальчика в расстегнутой шинели, из-под которой видна красная рубашка, обхватывающая белую нежную шею, с разгоревшимся лицом и глазами, похлопывающего руками и звонким голоском командующего: "Первое, второе!" – и весело избегающего на бруствер, чтобы посмотреть, куда падает его бомба. В половине 12-го стрельба с обеих сторон затихла, а ровно в 12 часов начался штурм Малахова кургана, 2, 3 и 5 бастионов.

## 24

По сю сторону бухты, между Инкерманом и Северным укреплением, на холме телеграфа, около полудня стояли два моряка, один – офицер, смотревший в трубу на Севастополь, и другой, вместе с казаком только что подъехавший к большой вехе.

Солнце светло и высоко стояло над бухтой, игравшею с своими стоящими кораблями и движущимися парусами и лодками веселым и теплым блеском. Легкий ветерок едва шевелил

листья засыхающих дубовых кустов около телеграфа, надувал паруса лодок и колыхал волны. Севастополь, все тот же, с своей недостроенной церковью, колонной, набережной, зеленеющим на горе бульваром и изящным строением библиотеки, с своими маленькими лазуревыми бухточками, наполненными мачтами, живописными арками водопроводов и с облаками синего порохового дыма, освещаемыми иногда багровым пламенем выстрелов; все тот же красивый, праздничный, гордый Севастополь, окруженный с одной стороны желтыми дымящимися горами, с другой – ярко-синим, играющим на солнце морем, виднелся на той стороне бухты. Над горизонтом моря, по которому дымилась полоса черного дыма какого-то парохода, ползли длинные белые облака, обещая ветер. По всей линии укреплений, особенно по горам левой стороны, по несколько вдруг, беспрестанно, с молнией, блестящей иногда даже в полуденном свете, рождались клубки густого, сжатого белого дыма, разрастались, принимая различные формы, поднимались и темнее окрашивались в небе. Дымки эти, мелькая то там, то здесь, рождались по горам, на батареях неприятельских, и в городе, и высоко на небе. Звуки взрывов не умолкали и, переливаясь, потрясали воздух...

К двенадцати часам дымки стали показываться реже и реже, воздух меньше колебался от гула.

– Однако 2-й бастион уже совсем не отвечает, – сказал гусарский офицер, сидевший верхом, – весь разбит! Ужасно!

– Да и Малахов нешто на три их выстрела посылает один, – отвечал тот, который смотрел в трубу. – Это меня бесит, что они молчат. Вот опять прямо в Корниловскую попала, а она ничего не отвечает.

– А посмотри, к двенадцати часам, я говорил, они всегда перестают бомбардировать. Вот и нынче так же. Поедем лучше завтракать... нас ждут уже теперь... нечего смотреть.

– Постой, не мешай! – отвечал смотревший в трубу, с особенной жадностью глядя на Севастополь.

– Что там? что?

– Движение в траншеях, густые колонны идут.

– Да и так видно, – сказал моряк, – идут колоннами. Надо дать сигнал.

– Смотри, смотри! вышли из траншеи.

Действительно, простым глазом видно было, как будто темные пятна двигались с горы через балку от французских батарей к бастионам. Впереди этих пятен видны были темные полосы уже около нашей линии. На бастионах вспыхнули в разных местах, как бы перебегая, белые дымки выстрелов. Ветер донес звуки ружейной, частой, как дождь бьет по окнам, перестрелки. Черные полосы двигались в самом дыму, ближе и ближе. Звуки стрельбы, усиливаясь и усиливаясь, слились в продолжительный перекатывающийся грохот. Дым, поднимаясь чаще и чаще, расходился быстро по линии и слился, наконец, весь в одно лиловатое, свивающееся и развивающееся облако, в котором кое-где едва мелькали огни и черные точки – все звуки соединились в один перекатывающийся треск.

– Штурм! – сказал офицер с бледным лицом, отдавая трубку моряку.

Казачи проскакали по дороге, офицеры верхами, главнокомандующий в коляске и со свитой проехал мимо. На каждом лице видны были тяжелое волнение и ожидание чего-то ужасного.

– Не может быть, чтобы взяли! – сказал офицер на лошади.

– Ей-богу, знамя! посмотри! посмотри! – сказал другой, задыхаясь, отходя от трубы, – французское на Малаховом!

– Не может быть!

Козельцов-старший, успевший отыгаться в ночь и снова спустить все, даже золотые, зашитые в обшлаге, перед утром спал еще нездоровым, тяжелым, но крепким сном в

оборонительной казарме пятого бастиона, когда, повторяемый различными голосами, раздавался роковой крик:

– Тревога!...

– Что вы спите, Михайло Семеныч! Штурм! – крикнул ему чей-то голос.

– Верно, школьник какой-нибудь, – сказал он, открывая глаза и не веря еще.

Но вдруг он увидел одного офицера, бегущего без всякой видимой цели из угла в угол, с таким бледным, испуганным лицом, что он все понял. Мысль, что его могут принять за труса, не хотевшего выйти к роте в критическую минуту, поразила его ужасно. Он во весь дух побежал к роте. Стрельба орудийная кончилась; но трескотня ружей была во всем разгаре. Пули свистели не по одной, как штуцерные, а роями, как стадо осенних птичек пролетает над головами. Все то место, на котором стоял вчера его батальон, было застлано дымом, были слышны недружные крики и возгласы. Солдаты, раненые и нераненые, толпами попадались ему навстречу. Пробежав еще шагов 30, он увидел свою роту, прижавшуюся к стенке, и лицо одного из своих солдат, но бледное-бледное, испуганное. Другие лица были такие же. Чувство страха невольно сообщилось и Козельцову: мороз пробежал ему по коже.

– Заняли Шварца, – сказал молодой офицер, у которого зубы щелкали друг о друга. – Все пропало!

– Вздор, – сказал сердито Козельцов и, желая возбудить себя жестом, выхватил свою маленькую железную тупую сабельку и закричал:

– Вперед, ребята! Ура-а!

Голос был звучный и громкий; он возбудил самого Козельцова. Он побежал вперед вдоль траверса; человек 50 солдат с криками побежало за ним. Когда они выбежали из-за траверса на открытую площадку, пули посыпались буквально как град; две ударились в него, но куда и что они сделали – контузили, ранили его, он не имел времени решить. Впереди, в дыму, видны были ему уже синие мундиры, красные панталоны и слышны нерусские крики; один француз стоял на бруствере, махал шапкой и кричал что-то. Козельцов был уверен, что его убьют; это-то и придавало ему храбрости. Он бежал вперед и вперед. Несколько солдат обогнали его; другие солдаты показались откуда-то сбоку и бежали тоже. Синие мундиры оставались в том же расстоянии, убегая от него назад к своим траншеям, но под ногами попадались раненые и убитые. Добежав уже до внешнего рва, все смешались в глазах Козельцова, и он почувствовал боль в груди и, сев на банкет, с огромным наслаждением увидел в амбразуру, как толпы синих мундиров в беспорядке бежали к своим траншеям и как по всему полю лежали убитые и ползали раненые в красных штанах и синих мундирах.

Через полчаса он лежал на носилках, около Николаевской казармы, и знал, что он ранен, но боли почти не чувствовал; ему хотелось только выпить чего-нибудь холодного и лечь попокойнее.

Маленький, толстый, с большими черными бакенбардами доктор подошел к нему и растегнул шинель. Козельцов через подбородок смотрел на то, что делает доктор с его раной, и на лицо доктора, но боли никакой не чувствовал. Доктор закрыл рану рубашкой, отер пальцы о полы пальто и молча, не глядя на раненого, отошел к другому. Козельцов бессознательно следил глазами за тем, что делалось перед ним. Вспомнив то, что было на 5 бастионе, он с чрезвычайно отрадным чувством самодовольства подумал, что он хорошо исполнил свой долг, что в первый раз за всю свою службу он поступил так хорошо, как только можно было, и ни в чем не может упрекнуть себя. Доктор, перевязывая другого раненого офицера, сказал что-то, указывая на Козельцова священнику с большой рыжей бородой, с крестом стоявшему тут.

– Что, я умру? – спросил Козельцов у священника, когда он подошел к нему.

Священник, не отвечая, прочел молитву и подал крест раненому.

Смерть не испугала Козельцова. Он взял слабыми руками крест, прижал его к губам и заплакал.

– Что, выбиты французы везде? – спросил он у священника.

– Везде победа за нами осталась, – отвечал священник, говоривший на о , скрывая от раненого, чтобы не огорчить его, то, что на Малаховом кургане уже развевалось французское знамя.

– Слава Богу, слава Богу, – проговорил раненый, не чувствуя, как слезы текли по его щекам, и испытывая невыразимый восторг сознания того, что он сделал геройское дело.

Мысль о брате мелькнула на мгновение в его голове. "Дай Бог ему такого же счастья", – подумал он.

## 26

Но не такая участь ожидала Володю. Он слушал сказку, которую рассказывал ему Васин, когда закричали: "Французы идут!" Кровь прилила мгновенно к сердцу Володи, и он почувствовал, как похолодели и побледнели его щеки. С секунду он оставался недвижим; но, взглянув кругом, он увидел, что солдаты довольно спокойно застегивали шинели и вылезали один за другим; один даже – кажется, Мельников – шутливо сказал:

– Выходи с хлебом-солью, ребята!

Володя вместе с *Влангой* , который ни на шаг не отставал от него, вылез из блиндажа и побежал на батарею. Артиллерийской стрельбы ни с той, ни с другой стороны совершенно не было. Не столько вид спокойствия солдат, сколько жалкой, нескрываемой трусости юнкера возбудил его. «Неужели я могу быть похож на него?» – подумал он и весело подбежал к брустверу, около которого стояли его мортирки. Ему ясно видно было, как французы бежали к бастиону по чистому полю и как толпы их с блестящими на солнце штыками шевелились в ближайших траншеях. Один, маленький, широкоплечий, в зуавском мундире, с шпагой в руке, бежал впереди и перепрыгивал через ямы. «Стрелять картечью!» – крикнул Володя, сбегая с банкета; но уже солдаты распорядились без него, и металлический звук выпущенной картечи просвистел над его головой, сначала из одной, потом из другой мортиры. «Первое! второе!» – командовал Володя, перебегая в дыму от одной мортиры к другой и совершенно забыв об опасности. Сбоку слышалась близкая трескотня ружей нашего прикрытия и суетливые крики.

Вдруг поразительный крик отчаяния, повторенный несколькими голосами, послышался слева: "Обходят! Обходят!" Володя оглянулся на крик. Человек 20 французов показались сзади. Один из них, с черной бородой, в красной феске, красивый мужчина, был впереди всех, но, добежав шагов на 10 до батареи, остановился и выстрелил и потом снова побежал вперед. С секунду Володя стоял как окаменелый и не верил глазам своим. Когда он опомнился и оглянулся, впереди его были на бруствере спине мундиры и даже один, спустившись, заклепывал пушку. Кругом него, кроме Мельникова, убитого пулей подле него, и Вланга, схватившего вдруг в руку хандшпуг[67] и с яростным выражением лица и опущенными зрачками бросившегося вперед, никого не было. «За мной, Владимир Семеныч! За мной! Пропали!» – кричал отчаянный голос Вланга, хандшпугом махавшего на французов, зашедших сзади. Яростная фигура юнкера озадачила их. Одного, переднего, он ударил по голове, другие невольно приостановились, и Вланг, продолжая оглядываться и отчаянно кричать: «За мной, Владимир Семеныч! Что вы стоите! Бегите!» – подбежал к траншее, в которой лежала наша пехота, стреляя по французам. Вскочивши в траншею, он снова высунулся из нее, чтобы посмотреть, что делает его обожаемый прапорщик. Что-то в шинели ничком лежало на том месте, где стоял Володя, и все это пространство было уже занято французами, стрелявшими в наших.

## 27

Вланг нашел свою батарею на 2-й оборонительной линии. Из числа 20 солдат, бывших

на мортирной батарее, спаслось только 8.

В 9-м часу вечера Вланг с батареей на пароходе, наполненном солдатами, пушками, лошадьми и ранеными, переправлялся на Северную. Выстрелов нигде не было. Звезды, так же как и прошлую ночь, ярко блестели на небе; но сильный ветер колыхал море. На 1-м и 2-м бастионе вспыхивали по земле молнии; взрывы потрясали воздух и освещали вокруг себя какие-то черные странные предметы и камни, взлетающие на воздух. Что-то горело около доков, и красное пламя отражалось в воде. Мост, наполненный пародом, освещался огнем с Николаевской батареи. Большое пламя стояло, казалось, над водой на далеком мыске Александровской батареи и освещало низ облака дыма, стоявшего над ним, и те же, как и вчера, спокойные, дерзкие огни блестели в море на далеком неприятельском флоте. Свежий ветер колыхал бухту. При свете зари пожаров видны были мачты наших утопающих кораблей, которые медленно, глубже и глубже уходили в воду. Говору не слышно было на палубе; из-за равномерного звука разрезаемых волн и пара слышно было, как лошади фыркали и топали ногами на шаланде, слышны были командные слова капитана и стоны раненых. Вланг, не евший целый день, достал кусок хлеба из кармана и начал жевать, но вдруг, вспомнив о Володе, заплакал так громко, что солдаты, бывшие подле него, услышали.

– Вишь, сам хлеб ест, а сам плачет, *Вланга* -то наш, – сказал Васин.

– Чудно! – сказал другой.

– Вишь, и наши казармы позажгли, – продолжал он, вздыхая, – и сколько там нашего брата пропало; а ни за что французу досталось!

– По крайности, сами живые вышли, и то слава ти, Господи, – сказал Васин.

– А все обидно!

– Да что обидно-то? Разве он тут разгуляется? Как же! Гляди, наши опять отберут. Уж сколько б нашего брата ни пропало, а, как Бог свят, велит император – и отберут! Разве наши так оставят ему? Как же! На вот тебе голые стоны, а танцы-то все повзорвали. Небось свой значок на кургане поставил, а в город не суется. Погоди, еще расчет будет с тобой настоящий – дай срок, – заключил он, обращаясь к французам.

– Известно, будет! – сказал другой с убеждением.

По всей линии севастопольских бастионов, столько месяцев кипевших необыкновенной энергической жизнью, столько месяцев видевших сменяемых смертью одних за другими умирающих героев и столько месяцев возбуждавших страх, ненависть и, наконец, восхищение врагов, – на севастопольских бастионах уже нигде никого не было. Все было мертво, дико, ужасно – но не тихо: все еще разрушалось. По изрытой свежими взрывами, обсыпанной земле везде валялись исковерканные лафеты, придавившие человеческие русские и вражеские трупы, тяжелые, замолкнувшие навсегда чугунные пушки, страшной силой сброшенные в ямы и до половины засыпанные землей, бомбы, ядра, опять трупы, ямы, осколки бревен, блиндажей, и опять молчаливые трупы в серых и синих шинелях. Все это часто содрогалось еще и освещалось багровым пламенем взрывов, продолжавших потрясать воздух.

Враги видели, что что-то непонятное творилось в грозном Севастополе. Взрывы эти и мертвое молчание на бастионах заставляли их содрогаться; но они не смели верить еще под влиянием сильного, спокойного отпора дня, чтоб исчез их непоколебимый враг, и молча, не шевелясь, с трепетом ожидали конца мрачной ночи.

Севастопольское войско, как море в зыбливую мрачную ночь, сливаясь, развиваясь и тревожно трепеща всей своей массой, колыхаясь у бухты по мосту и на Северной, медленно двигалось в непроницаемой темноте прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев, – от места, всего облитого его кровью; от места, 11 месяцев отстаиваемого от вдвое сильнее врага, и которое теперь ведено было оставить без боя.

Непонятно тяжело было для каждого русского первое впечатление этого приказанья. Второе чувство было страх преследования. Люди чувствовали себя беззащитными, как только оставили те места, на которых привыкли драться, и тревожно толпились во мраке у входа моста, который качал сильный ветер. Сталкиваясь штыками и толпясь полками,



экипажами и ополчениями, жалась пехота, проталкивались конные офицеры с приказаниями, плакали и умоляли жители и денщики с клажею, которую не пропускали; шумя колесами, пробивалась к бухте артиллерия, торопившаяся убираться. Несмотря на увлечение разнородными суетливыми занятиями, чувство самосохранения и желания выбраться как можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого. Это чувство было и у смертельно раненного солдата, лежащего между пятьюстами такими же ранеными на каменном полу Павловской набережной и просящего Бога о смерти, и у ополченца, из последних сил втиснувшегося в плотную толпу, чтобы дать дорогу верхом проезжающему генералу, и у генерала, твердо распоряжающегося переправой и удерживающего торопливость солдат, и у матроса, попавшего в движущийся батальон, до лишения дыхания сдавленного колеблющейся толпой, и у раненого офицера, которого на носилках несли четыре солдата и, остановленные спершимся народом, положили наземь у Николаевской батареи, и у артиллериста, 16 лет служившего при своем орудии и, по непонятному для него приказанию начальства, сталкивающего орудие с помощью товарищей с крутого берега в бухту, и у флотских, только что выбивших закладки в кораблях и, бойко гребя, на баркасах отплывающих от них. Выходя на ту сторону моста, почти каждый солдат снимал шапку и крестился. Но за этим чувством было другое, тяжелое, сосущее и более глубокое чувство: это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимую горечью в сердце вздыхал и грозился врагам.

*27 декабря. Петербург.*